

Инга Андрианова

По ту сторону

Пролог

«Жизнь — приключение длиной в жизнь...».

Мудрость ушлых.

Антон и Нина не любили друг друга. Нырнув с головой в столичную жизнь и оставаясь в душе типичными провинциалами, они довольно быстро нашли общий язык и стали жить вместе. Как все московские студенты шестидесятых, они бродили по ночным проспектам, пели под гитару и под перезвон трамваев бегали в закусочную, когда от голода сводило живот.

Чтобы прокормиться в чужом городе, Антон устроился грузчиком в колбасный цех и регулярно подворовывал батоны, которые потом с гордостью вынимал из штанов под визг и хохот соседей по общежитию. Было шумно и весело. Со всей страны, словно горные ручьи в столичный ВУЗ стекались жизнелюбивые, напористые потоки, чтобы спустя пять лет вынырнуть где-нибудь в поселках Крайнего Севера или аулах Средней Азии в качестве молодых амбициозных и не очень амбициозных специалистов.

Зима пришла под утро, запорошила, обезличила аллеи, накрыла тонким пледом набережные и парки. Из окна потянуло стужей и недозрелыми яблоками, в воздухе зазвенела, заискрилась кисея. В груди поселился вздох. В этот момент Нина поняла, что ждет ребенка.

В предрассветной гулкой тишине эта новость была как удар снежка о мутное стекло. Радость открытия и трепет ожидания миновали юное сердце Нины, она тихо застонала и откинулась на подушку. «Как глупо! Как не вовремя!». Промаявшись в постели до рассвета, Нина совсем пала духом и потеряла способность принимать решения. Врачей она панически боялась и посещала по мере надобности, как неизбежное зло, таблетки отродясь не глотала, потому как организм имела крепкий, а здоровье — отменное.

Нина встала с кровати, подошла к окну, уткнулась лбом в холодное стекло: «Теперь придется пропускать учебу. Уж лучше бы не подтвердилось...».

В подобных случаях надежды оправдываются редко, а вот прогнозы — часто. Друзья, возникшие невесь откуда, охотно лезут в душу, участвуют в судьбе заблудшей. Слова их звучат убаюкивающе и по-родительски заботливо. Как правило, все эти

люди знают уйму аналогичных историй, примеров из жизни. Все они готовы поделиться, помочь, поддержать на проектной стадии. Все они выглядят мудрецами и, только оказавшись в схожей ситуации, безвозвратно теряют апломб.

Находясь в ступоре, Нина слушала невнимательно, кивала всем подряд и часто не попадала. Антон был холоден и категоричен. Перспектива отцовства и жена на сносях не входили в его безупречный проект. «Поступай, как знаешь, материально поддержу», — на этом диалог двух любящих сердец иссяк.

Таблетки были гадкими на вкус, вызывали изжогу и бесконечную жажду. Семинары проплывали под шторм в ушах и мусть в глазах. Головные боли, тошнота и рези выкачивали остаток сил. Никак не получалось согреться. Внешний мир с его новогодней мишурой, брызгами смеха и ароматом хвои стучался в окна, пронесся в метро, шуршал юбками по мраморным ступеням, манил, искрился беззаботной праздничной шумихой, но никак не давал приблизиться, заглянуть в себя, сделаться его частью.

Таблетки полетели в помойное ведро вместе с надеждой на спасенье. Куранты пробили Новый год...

Пробуждение

Когда душным июльским утром первые лучи прорезали дымку над Москвой-рекой, акушерская бригада родильного дома № 7 приняла на свет младенца с тазовым предлежанием.

— Девочка у тебя, 3 500. Но имей в виду, у ребенка асимметрия лица и косолапость стоп. Смотреть будешь?

— Нет.

Нина лежала, уставившись в потолок, и повторяла пересохшими губами: «Пускай она умрет! Пускай ее не станет!».

«Она не должна жить!», — как заведенная твердила Нина, пока сон не навалился густой тягучей пустотой.

Когда детей привезли на кормление, Нина склонилась над спящей девочкой, взгляделась в ее крохотное личико:

— Нет, это не асимметрия. Это гематома — она же задом шла, вот ее и сплющило. Теперь посмотрим ножки... Так, пальчики на месте: один, два, три... всего десять. А что же не так со ступнями? Девочки, дайте посмотреть ваши ножки! Ну, надо же, совсем как у моей! У всех одинаковые! Чего ж они говорят «косолапость стоп»? Зачем они такое сказали?

— А ты их больше слушай! Вон в соседней палате вообще щипцами доставали, представляешь, какая там симметрия!

— Господи, а я себе такого напридумывала! Нормальная девчонка, только рыжая очень, кудри огняные как шерсть у коровы.

— Да что ты, Нин, такое про ребенка говоришь! Ну рыжая, и что? У них цвет волос еще десять раз поменяется.

— Да я ничего, просто перепугалась...

— Ты бы лучше ее покормила, молока, небось, на всю палату хватит.

На выписку Антон опоздал — стоял в Детском Мире за ползунками. Нина угрюмо топталась на месте, глотала обиду и горькие слезы, в то время как счастливые и глупые папаши баюкали свой самый главный груз. Получалось у всех одинаково: кулечки мяукали и расползались, банты съезжали на сторону, а мамки, побросав цветы, метались вокруг возмущенных младенцев, подтыкая пеленки и прикрывая розовые пятки.

В общежитии было тихо — студенты разъехались по домам, и только на кухне сиротливо сопел забытый кем-то чайник, из дальней комнаты звучали сигналы точного времени. Нина положила дочку на кровать, вышла на балкон и шумно вдохнула запах листвы: «Вот я и мама... Интересно,

что я должна при этом чувствовать? Моя мать родила шестерых, и каждый раз у нее по-особому светились глаза, похоже, она что-то ощущала. Знать бы только, что...»

Кормление — пеленки — кормление — пеленки — вот лейтмотив матерей-одиночек. Антон, и без того не рвущийся в отцы, узнав пол ребенка, утратил к нему интерес. Наследника не вышло, чего же напрягаться? Поход на молочную кухню стал для Антона и подвигом отцовства, и оправданием вечных отлучек, и поводом сбежать на преферанс. Случалось, он не возвращался до утра, тогда, скрипя зубами и проклиная всю мужскую братию, Нина хватала орущий кулек и по трамвайным путям бежала на детскую кухню.

Близилась зимняя сессия. Ученый люд шуршал конспектами, дымил в институтских курилках. Преподаватели с надутыми щеками и статью королевских индюков курсировали вдоль аудиторий. С каждым днем пополнялась их свита — ширилась армия прогульщиков и подхалимов. Шел активный обмен информацией на тему «вшивости» того или иного «препода», растекались агентурные данные о пристрастиях и пунктиках местных светил.

«Санаева терпеть не может беременных, а Высоцкая — курящих. К Бахрушеву не вздумайте надевать мини, он вообще не по женской части».

Было скользко и пасмурно, Нина спешила домой — нужно было пристроить ребенка и успеть на экзамен. Принимала старуха Елизарова, родственница бессмертного вождя, своенравная и заносчивая. Студенток она не любила, замужних презирала, а тех, кто по ходу дела успел обзавестись потомством, смачно и размеренно топила по всем вопросам. «Бальза ка, у Бальза ка, Оноре де Бальза ка», — словно мантру твердила Нина. Разведка донесла, что мадам осилила всю Человеческую комедию и помешана на ударениях. «Сейчас за угол, и я дома» — в этот момент Нину что-то толкнуло и отбросило, словно куклу, в грязный рыхлый сугроб. Ступня подвернулась, с ладони закапала кровь, из авоськи посыпались битые стекла. Нина пошевелила ногой и поморщилась. Два молодых человека подхватили Нину под руки, какая-то тетка заняла противным фальцетом:

— Смотри, куда идешь. Темно ведь, гололед! Чего тебя на рельсы понесло? Чуть под трамвай не попала! Чего болит? Идти-то можешь? Ой, а молока-то как жалко! И пальто все испачкала! Ты руку-то держи на весу, а то пальто зальешь. Молодые люди тебя проводят. Давайте, молодые люди, чего встали?

— Не надо меня провожать, я уже дома, — сквозь слезы выдавила Нина и побежала к

общежитию, вытряхивая на ходу проклятые осколки.

Она прошла по комнате, нервным движением сорвала с веревки сухую пеленку, отерла ладонь:

— Сил моих больше нет! Жить хочу, спать хочу, тишины хочу! — шумно выдохнула, склонилась над спящей дочерью и долго смотрела, как та, распутив слюни, чмокает губами.

Медленно и уверенно она спеленала ребенка, сложила в сумку паспорт, свидетельство о рождении и, немного подумав, студенческий билет, подхватила притихшую дочь и решительно вышла из комнаты.

В приюте ее не осуждали, не отговаривали, не пытались вразумить, молча выслушали путаные объяснения и также молча оформили бумаги. Нянечка, взяла ребенка на руки, посмотрела на Нину то ли с горечью, то ли с печалью и исчезла за белой облупившейся дверью, а секунду спустя до Нины долетел истошный детский крик, тот самый, от которого у добрых матерей кровь стынет в жилах.

В тот день Нина сдала экзамен по мировой литературе. Не смотря на ошибки в ударении и задолженности по семинарам, профессору Елизаровой понравилась молодая целеустремленная студентка с решительным и твердым взглядом.

Студенческие каникулы... благословенная пора! Сессия позади, страна шагает в ногу с новой пятилеткой, елки с остатками мишуры уныло торчат из сугробов, под балконами вмерзшее в снег конфетти, на лицах прохожих усталость и уверенность в завтрашнем дне. Но студент — это не просто прохожий, это иная, юная и загадочная формация с голодным и любопытным взором. Студента не спутаешь ни с кем — он представитель едва уловимого духа новизны и тайны непознанного. Из-за плеча у него неизменно торчит глумливая физиономия размытого грядущего, а во взгляде читается еще по-детски бесхитростное желание спасти мир. Зимние каникулы для студента — это сигнал к действию: за эти пару недель обладатель зачетной книжки должен успеть многое: исцелить вселенную от депрессии, а зачахшее человечество — от греха уныния.

Общежитие в очередной раз пустеет, но еще несколько дней в воздухе будет витать дух энтузиазма и морковных котлет.

Антон уехал на родину зализывать экзаменационные проколы, а Нина, получив от матери анафему в конверте, забрала дочь из приюта и отвезла домой в свою многодетную семью. Козье молоко, здоровый деревенский воздух и добрые бабушкины руки впервые подарили Веронике

чувство дома. Донбасский говорок да крики петухов стали для девочки первой колыбельной, а любящие глаза согрели ее маленькое сердечко. В этой большой небогатой семье детей любили и растили без лишнего усердия, но внимательно и преданно. Вдобавок к шестерым родным детям семья поднимала мальчишку-сироту, который прибился к ней после войны, да так и остался, не смотря на голод и вопиющую нищету. Дети росли добрыми и бесхитростными, в меру трудягами, в меру оболтусами. Старшие брат и сестра учились в Москве, младшим жизнь уготовила свою особую программу.

Лето в Донбассе — пора жаркая и засушливая, седая угольная пыль мешается с ароматом полыни и давленных абрикосов, образует дивный южный коктейль, который проникает под кожу и остается там на всю жизнь. И каждый раз, услышав южный говорок или мелодию давно забытой песни, ты вспоминаешь пирамиды терриконов и золотые кукурузные поля.

Ника сидела на угольной куче и с важным видом перекладывала камешки с одной стороны на другую. Из-под черной щекастой маски на мир таращились два внимательных зеленых глаза. У ее ног сопел не менее чумазый пес, претендующий на родство с немецкой овчаркой. Он подрагивал

брюхом, стгоня жирных слепней, и тер лапой нос, когда в него залетала порция угольной пыли.

Калитка заскулила и открылась, пес лениво поднял морду и, не вставая, завилял хвостом. Во двор вошла Нина.

— Верка, ты что ли? Как выросла! А толстая какая! Ма, ты чего так Верку раскормила?

— А, приехала, здравствуй, — на пороге показалась маленькая рябая женщина, с большой миской и черными от вишни ногтями, — неси чемодан в дом, а то Рекс-гад погрызет.

Нина присела на корточки возле угольной кучи, стараясь не задеть подолом камни:

— Верка, ты меня помнишь? Пойдешь ко мне на ручки? Ма, ты б ее помыла!

— Тебе надо, ты и помой.

— Давай нагреем воды, я ее в тазу вымою.

— Ты, Нинка в своей Москве совсем заучилась. Вон бочка на солнце нагрелась, возьми воды да вымой девку.

Нина встала, сощурилась, шумно вздохнула:

— А нас распределили на Урал.

— А что, в Москве не оставляют?

— Антона хотели оставить, потом узнали, что он с ребенком, и сразу же перевели.

— Да, Урал далеко...

— Ма, я приехала за Веркой...

— Да ты что! Правда что ли? — мать села на

крыльцо, беспомощно опустила руки на подол, —
Зачем она тебе?

— Я Верку заберу с собой, — настойчиво
повторила Нина, — Антонова родня так хочет.

— Не отдам! — резко ответила мать и
посмотрела на Нину с упреком, — Ну, не слушай
ты этих хохлов! Ты все равно для них чужая, и
Антон тебя бросит с ребенком! Оставь нам Верку
— ей здесь хорошо, она к нам привыкла, меня
мамой зовет. Езжай на свой Урал, живи там,
работай, а девку оставь — не губи ты ребенка!

* * *

Поезд тронулся, и бабка завывала словно
раненный зверь. Ника билась в руках у матери и
ревела на весь вагон. Пассажиры с любопытством
разглядывали молодую симпатичную особу,
которая нервно трясла безутешную дочь и что-то
грубо кричала в окно бегущей за поездом женщине.

Страна чудес

Урал — волшебная страна. Здесь все
незыблемо и первобытно. Безликие города, с их
копящими трубами, карьеры с асбестовой пылью и
урановые рудники островками вплетаются в
дремотную тайгу, полную звуков и движений.

Когда встает солнце, горы покрываются теплым румянцем, а верхушки сосен вспыхивают каждой иголочкой навстречу высокому небу. Воздух здесь чист и прозрачен, шум листвы в могучих кронах раскатист и тревожен, ручьи журчат веселым смехом, а щедрый птичий хор перекрывает гул летящего над лесом самолета.

Закутанный в колючую проволоку городок без названия ютился у подножия гигантской сопки. Он рос и ширился, грозясь со временем подмять всю высоту, покрыв ее наростами пятиэтажек. Жители усердно вкалывали на урановом предприятии, гордясь невиданными льготами, изобилием на прилавках и статусом таинственности.

Отца распределили в местный институт, а мать довольствовалась самой средней школой — в России женщина всегда плелась в тени.

Родители прошлись по коммуналке, представились соседям по квартире, распаковали свой единственный чемодан и убежали покорять вершины педагогики.

В отсутствие взрослых я почти не скучала: потихоньку разносила жильё, охотилась за сладостями и с большим интересом ждала, кто явится на этот раз; будут меня ругать за добытые и уничтоженные конфеты или на пару со мной

разделят трофеей? Переломав и разбросав игрушки, я забиралась на окно и начинала ждать гостей. Ближе к обеду мать отпускала с урока одну из своих учениц, чтобы та кормила меня и поднимала мой боевой дух. Такие вылазки считались поощрением, и старшеклассницы из кожи лезли вон, чтобы заслужить очередной отгул. Со мной им было веселее, чем за партой, поэтому уроки истории проходили на высокой ноте, а успеваемость летела в гору. Меня девочки баловали, водили на прогулки и даже разрешали таскать вишневое варенье, которое от моих грязных пальцев засахаривалось на удивление быстро. Заинтригованные родители никак не могли понять, что происходит с их запасами продуктов, куда девается сгущенка, а вместе с ней и грецкие орехи.

Наступила зима, и мои набеги на фамильные склады прервал Маркиз Дет Сад. Вот где открылся великий омут дошкольной педагогики. Воспитатели называли нас исключительно по фамилии, орали оглушительно и смачно, укладывали спать в кладовке, ставили в угол и обзывали словами, за повторение которых нам часто доставалось от родителей. Но не смотря на все их старания, врожденная любовь к жизни, неистребимый энтузиазм и жажда открытий служили для нас, счастливых советских детей, тем ярким маяком, что

вел сквозь ряды инквизиторов и надзирателей к единственному праведному свету.

Наш город развивался, хорошел. На месте тайги вырастали дома. Не прошло и года, как моих родителей, как молодых специалистов, поставили в очередь на отдельное жилье. Умнейший папа прикинул в уме варианты и тут же выписал к себе бабулю. Бабуля бросила родимый дом и ради покорения квадратных метров сменила жаркий климат Черноземья на сумерки Уральских холодов. Таким вот деликатным образом заботы по хозяйству (в которое входила я) легли на бабушкины плечи. Готовила она прекрасно, чистоту блюла педантично, женщиной была твердой и требовательной. Одна беда — она не ладила с невесткой: мало того, что единственный сын женился на кацапке, та еще оказалась грязнулей и лентяйкой. Конфликт двух женщин тлел на малом огне и не возгорался по двум причинам: мать с утра до вечера торчала на работе, а вернувшись домой, принимала тяжелый характер свекрови в надежде на жилье и скорый отъезд зловредной старухи.

Маркиз Дет Сад ушел в небытие, и бабушка взялась за мой откорм и воспитание.

Мы много гуляли, бродили по городу, с большим энтузиазмом изучали его географию.

Был солнечный апрельский день. Мы вышли из автобуса, остановились у красивой новостройки.

— Смотри, твой новый дом, — сказала бабушка и хитро улыбнулась.

Фасадом пятиэтажка выходила на тайгу, а тылом на большой покатый холм. С него стекала юная березовая роща.

— Иди за мной! — скомандовала бабушка на своем певучем языке и потянула меня за рукав.

Квартира показалась мне дворцом: диваны и кресла пурпурного цвета, гигантский эркер во всю стену, дубовый стол на терракоте ковра — все было залито янтарным светом. Лучи проникали сквозь паутину листвы, играли тенями, сплетали их в узор и делали пейзаж загадочно — подвижным.

— Ванная! — завопила я и бросилась навстречу гигиене.

Заплыв мой длился больше часа, и продолжался бы еще, не припугни меня бабуля, что если я не выйду из воды, у меня из ушей полезут вербные листья.

Таким образом, наша семья стала обладательницей отдельной двухкомнатной квартиры в живописном районе Урано-Секретенска.

Бабушку со всеми почестями спровадили на Украину, а меня на радостях — в ближайший детский сад. И потянулись долгие безрадостные

будни.

Отец рассматривал телесные наказания как неотъемлемую часть воспитания и за любую провинность порол жестоко и с оттяжкой. С поникшей головой я слушала доносы воспитательниц, ловила блеск злорадных глаз и все больше ежилась, предчувствуя акт возмездия. Отца я боялась до дрожи: его рука была тяжелой, разговор — коротким, слова — зловещими, аргументы — мудреными.

Бывало, в бой вступала мать, прикрыв меня своим роскошным телом. В такие дни доставалось обеим. Но рано или поздно порка заканчивалась, из меня выколачивалось очередное искреннее раскаяние, обещание не драться, не плевать, не писать мимо горшка, питаться тем, что дают, и думать, думать, думать над своим паскудным поведением. Наука засовывать язык себе в задницу через нее же и вколачивалась. Делалось это регулярно, качественно и добротнo.

С завидным постоянством отец изобретал все новые педагогические приемы, которые впоследствии осваивал на мне. Кончалось всегда одинаково — поркой и признанием моей полной несостоятельности.

Однажды из старой картонной пудреницы отец смастерил подобие копилки. Родители

торжественно отслонявили мне гривенник, и я тут же ощутила себя президентом собственного фонда. Последующие несколько дней я клянчила деньги в пользу этого фонда то у отца, то у матери и ломала голову над тем, как бы умножить капитал.

Был тихий теплый вечер, ручьи захлебывались талой водой, а птицы весенним вокалом. Мать привела меня на школьный двор и, бросив там, умчалась на какой-то «педсовет». Я поиграла в классики, порисовала на асфальте, ободрала с кустов молодую листву, поскакала на правой, на левой ноге, а когда солнце зашло за тучу и стало прохладно, я бросила скакать и побежала в школу. Какое-то время я бродила по пустынным коридорам, заглядывала в классы, изображала учительницу и пачкала мелом намытую доску. В конце концов я добрела до раздевалки и на полу обнаружила медный пятак. Богатство свалилось на меня так неожиданно, что я засунула руку в ближайший карман и выудила оттуда горсть монет. Да, это был настоящий успех! Педагогические карманы одарили меня червонцем, двумя трешками, рублем и кучей звонкой мелочи, которая вдохновляла гораздо больше, чем мятые бумажки. Довольная и беспечная, с руками, полными сокровищ, я вышла в вестибюль под бдительное око поломойки. Тетка отставила швабру в сторонку и произвела классический шмон: вывернула мои

карманы, сняла с меня ботинки и тщательно их перетрясла. Свои действия она сопровождала угрозами и требованием сдать подельников. Я не кололась: мои потуги сдать всю шайку целиком и, на худой конец, представить, как выглядит подельник, закончились провалом. Учителя, вернувшиеся с педсовета, наперебой живописали тяготы тюрьмы. Прослушав их мрачную повесть, я поняла, что все они прошли долгий лагерный путь, прежде чем завоевали право обучать советских школьников.

В конце концов меня объявили членом школьной банды, сдали убитой горем матери, наскоро поделили награбленное и растеклись по колбасным отделам ближайших гастрономов.

Мать затащила меня в раздевалку и собственноручно обыскала.

— Не смей никуда уходить! — прошипела она и выскочила за дверь.

От накатившей на меня тоски я запустила руку в ближнее пальто и выудила две хрустящие бумажки. На этот раз улов был небогат — ни блестящих тебе монет, ни радующих душу пятаков! Я повертела бумажки в руках, сунула их к себе в карман и побежала доигрывать партию в классики.

Вечер в семейном кругу прошел оглушительно тихо...

Проснулась я поздно и тут же ощутила мрачный дух, витавший по квартире. Я подкралась к двери и тихонько ее приоткрыла: отец сидел за своим шикарным столом, мать шагами мерила комнату.

— Иди сюда! — велел отец и поднял тяжелые веки.

Я живо вспомнила вчерашний день, а вместе с ним и две хрустящие бумажки.

— Чего ты ждешь? — голос отца выражал нетерпение.

— Мне нужно в туалет.

Я натянула кофту поверх пижамы и жалким кроликом проскакала мимо отца. Едва задвинув за собой щеколду, я сунула руку в карман, достала оттуда злосчастные деньги и с чистой совестью их смыла в унитаз. Освободившись от улик, я выдохнула с облегчением, одернула кофту и вышла к отцу. Мать покосилась на отца, сложила руки на груди, предательски сощурила глаза:

— Теперь рассказывай, что было в школе.

Я долго мямлила, хлюпала носом, переминалась с ноги на ногу и все глубже втягивала шею.

Мои стенания прервал отец:

— А ну-ка выверни карманы!

Увидев, что карманы пусты, отец вскочил с места, завис надо мной, словно коршун:

— Где деньги? Куда ты их спрятала? Неужели ты их спустила в унитаз? — в его глазах был неподдельный интерес.

— У меня ничего нет, папа, — проблеяла я.

Судорога свела горло, а следом отказали связки.

— Ну что ж, не признаешься, это плохо! Но хуже другое. Хуже всего — твой вчерашний поступок.

— Я так больше не буду...

— Я знаю, — тихо ответил отец, — А теперь покажи свои руки!

Я посмотрела на отца и спрятала руки за спину.

— Руки на стол! — крикнул отец и подался вперед.

Я подошла к столу и вытянула руки. Я думала, отец возьмет ремень, но вместо этого он вытащил топор. Я дернулась и дико закричала, а следом закричала мать, но громче и яростнее всех закричал отец:

— Положи руки на стол! С такими грязными руками жить нельзя!

Мать оттолкнула меня от стола, схватила отца за рукав:

— Отдай топор! Отдай немедленно! Ты слышишь!

— Неси копилку! — жутким голосом велел

отец, и я мгновенно подчинилась.

— А теперь, — он разрубил копилку пополам, — ты спустишь деньги в унитаз. О копилках забудь навсегда! И по карманам я тебя лазить отучу!

Рубцы и кровоподтеки я зализывала всю неделю и еще месяц вздрагивала по ночам, шарахалась при виде топоров и стороной обходила чужие карманы. Только раз я стащила стеклянные бусы, но наигравшись, вернула хозяйке.

Когда мне исполнилось семь, отец неожиданно повел себя как сноб и определил меня в элитную спецшколу, которую зачем-то называл английской. Директор школы лично проводил отбор: оценивал уровень, определял способности, задатки, короче, снимал сливки с мутного потока претендентов. Я успешно сдала все экзамены и получила гордое право именоваться первоклашкой.

Первого сентября мать отвела меня на школьную линейку, пустила там слезу, похлопала в ладоши и унеслась достраивать свой беспросветный коммунизм.

Наша школа оказалась довольно чопорным местом с большими претензиями и еще большими амбициями. Помимо стандартного набора дисциплин мы изучали ряд предметов на

английском языке. Грамматику и орфографию преподавали хорошо, а вот с акцентом выходил конфуз. Двойной железный занавес «страна — закрытый город» не пропускал ни слова иностранной речи, и приходилось бедным педагогам пускать фонетику на самотек. Произношению учил магнитофон и записи все тех же педагогов. Не удивительно, что английский язык звучал из наших уст топорным русским диалектом.

Наша форма а-ля Итон выгодно отличалась от черно-коричневой классики, и все мы страшно гордились своими синими жилетками и золотыми пуговицами на клубных пиджаках.

На этом разногласия кончались, и подобно миллионам школьников, вся курносая сопливая элита городка расползалась по классам, навстречу процеженным фактам, прилизанной под идею научной основе и чудо-педагогам, презиравшим детей.

Уральские морозы — страшный сон, извечная борьба за выживание, когда под стон пурги и вой поземки ты пробиваешься к зданию школы. Порывы, словно битое стекло, секут обветренные щеки, портфель все время валится из рук, потому что пальцы деревенеют и не желают слушаться.

Когда температура падала за тридцать, все городские школы закрывались, во всех остальных

случаях приходилось бежать на урок наперегонки с угрозой обморожения. Зарывшись в шубу с головой, мы штурмовали снежные барханы, пригнувшись топали сквозь снег и ветер, пыхтя, взбирались по ступенькам и с грацией снеговиков закатывались в раздевалку. Обледенелые пальчики плохо справлялись с застежками, мы их просовывали в батарею, чтобы тут же отдернуть и, поскуливая от боли, прижать к губам. Здесь в раздевалке, в лабиринтах шуб, дремучих зарослях пальто случались самые жестокие баталии: мальчишки бились в кровь и совершали вылазки в стан девочек.

В первом классе я стала чемпионкой школы по опозданиям. Вместе со мной на это звание претендовал мой одноклассник — Димка Колесников, живший, как и я, на другом конце города. Димка обитал двумя домами дальше, и все же хронически отставал в борьбе за первенство. Автобусы вели себя по-свински: график движения не соблюдали, в назначенное время не являлись. Но только мы с Димкой испытывали на себе все тяготы общественного транспорта, и только мой автобус оказывался самым непорядочным из всех.

Классная дама ругала меня, на чем свет, писала заметки в моем дневнике и грозилась накапать директору. Каждое утро она выставляла меня у доски и требовала покаяний. С упорством

Шехерезады, я пела все новые сказки о подлых автобусах и вероломных будильниках. К концу четверти мои утренние опоздания стали событием школьной жизни: их с нетерпением ждал весь класс, и я старалась не повторяться, находить все новые краски и оттенки, чтобы слушатель мой не скучал. Но любой, даже очень большой артист, когда-нибудь терпит фиаско. Так случилось и со мной: очередная сага оказалась менее удачной, и классная дама расторгла контракт. Я головой открыла дверь и, протаранив всю кулису, затормозила о ведро с водой. Нянечка охнула и выронила тряпку.

— За что ж тебя, милая?

Она-то, добрая душа, и зашивала мне колготки, возвращала на место красивые пуговицы и заплетала мокрые косички.

Уроки закончились, и весело размахивая портфелем, я поскакала к матери в совсем другую школу, где не было двоек и злобных училок, где все меня любили, за дверь не выставляли, а в столовке кормили и давали добавку оранжевой подливки. Мой растерзанный вид вызвал переполох, и я тут же во всем созналась. Мать сильно разгневалась и затрубила в рог войны, но тут вступили мудрые коллеги. Они быстро напомнили матери, что сама она поступает не лучше, но только с чужими детьми, повздыхали, поохали и порешили закопать

топор.

— Собачья работа! — вздохнули коллеги, —
Со всяким бывает...

Отец вершил карьеру в местном ВУЗе, читал философию и политэк и ночи напролет, дымя пиратской трубкой, выстукивал на машинке свой бесконечный опус. Звался опус *Диссертацией*, хранился в ящике стола. Как-то раз я залезла в отцовы бумажки и вычитала странный заголовок «*Тайны кабинета Сталина*». Слово «тайны» меня напугало, я сунула листки обратно в стол и впредь зареклась туда лазить. В ту осень в доме часто звучали имена диссидентов, с которыми отец состоял в переписке. Я знала наизусть фамилии борцов с режимом, но лишь одна из них — Солженицын, никак не давала покоя, и каждый раз я мучилась вопросом «Так стал он все-таки жениться или нет?». Спросить об этом не решалась, разумно опасаясь порки. Так и ходила, озадаченная.

По вечерам отец водил меня гулять, показывал созвездия, которые отцы традиционно показывают дочерям, рассуждал о природе, о литературе, о смысле жизни. Притихший город, свет чужих окон, хрустящий спелый снег, морозный тихий воздух... и каждый раз одно и то же чувство. В нем было все: печаль и обреченность, несхожесть и какая-то вселенская тоска. Но вскоре

это чувство испарялось, мир становился ласков и приветлив. Мы много смеялись, валяли дурака, придумывали всяческие игры. Случалось, отец заводил меня в лес и бросал там одну. Я тут же начинала хныкать, отец издавал победный клич и, с видом наигравшегося школьника, выходил из укрытия. Его загадочная система воспитания включала все возможные кнуты и пряники, а также философские вливания в мой безупречно чистый мозг. И не было на свете человека, умевшего так быстро рассмешить — я хохотала до слез и до колик, вприсядку и вприпрыжку, а в голове маячила цветная мысль, что мой отец способен видеть свет. Мы говорили о загадочной стране под названием жизнь, сочиняли пародии и гадкие стишки. Отец придумывал дурацкие дразнилки, на все лады склонял мое имя, навешивал прозвища и «обзывалки». Все с тем же упоением он методично драл меня за тройки, изобретал все новые занятия, чтобы взбодрить мою ленную сущность. А как-то раз привел меня в бассейн...

Вода и вязание

Девчонки младшей группы уже легко держались на воде, и только я веселым головастиком барахталась у берега. Мой деятельный нрав не подкачал и в этот раз: я

поплыла на глубину, к единственной дорожке, натянутой поперек бассейна. Это был безусловный триумф здравого смысла и контроля над ситуацией. В десяти метрах от бортика я погрузилась с головой и тут же поняла, что человек — тварь сухопутная, водой дышать не может (ну, если только раз). Мои ноги зависли, руки мелко и хаотично забили по воде. Я чувствовала: следует нырнуть и оттолкнуться, однако, плавучесть моя мне серьезно мешала — вода выталкивала с тем же упорством, с которым я в нее пыталась погрузиться. При этом голова уже тянула вниз, а руки противно деревенели. Истошным кролем, напоминавшим конвульсии, я доплыла до каната и повисла на нем в позе лущеной креветки.

— Чемпионский заплыв! — на бортике стоял веселый тренер, поигрывал новеньким красным свистком, — Придется взять тебя в группу, пока ты не уплыла в Антарктиду.

С этого дня моя жизнь превратилась в заплыв с редкими вдохами в виде уроков. Мышцы непроизвольно дергались, в ушах стоял шум, перед глазами расплывались радужные сферы — результат сочетания хлорки и слез. Великий прорыв школы брасса пришелся на пору моих достижений. Я свободно влилась в олимпийский резерв, хлопнув тем самым пути отступления, лишив

себя права чему-то учиться, заниматься музыкой и перестать тупеть день ото дня.

Однажды осенью отец исчез. Его просто не стало — ушел и не вернулся. Я не сразу заметила его отсутствие, поскольку спорт заменил мне реальную жизнь. Из разговоров взрослых, из странных взглядов, из поведения матери, готовой взорваться в любую секунду, из напряжения, повисшего в воздухе, я поняла, что случилась беда.

— Отца арестовали, — сухо произнесла мать, когда я, наконец, отважилась спросить.

— Как это арестовали?

— Его посадили в тюрьму.

— Он что, крал деньги?

— Нет, он написал научную работу и открытое письмо американскому певцу.

— А потом обворовал его?

— Никого он не обворовывал! — нервно произнесла мать. — Все это очень сложно.

— А что он сделал?

— Он оклеветал наше общество, а я ему в этом потворствовала.

Я живо представила, как мать потворствует отцу в клевете на общество, и мне стало грустно.

— Но вы же хорошие! — не выдержала я.

— Мы неплохие. Просто повели себя как идиоты, — ответила мать и разрыдалась.

Мне страшно захотелось ей потворствовать, но я не знала, как это делается, поэтому тихо скулила в углу на диване. Остаток вечера я слонялась по дому, вынашивая план побега. В мозгу менялись картинки, одна мрачней другой: тюремные стены, нависшие над обрывом и одинокий серый остров среди чаек и волн.

С арестом отца моя жизнь почти не изменилась, чего нельзя сказать о жизни Нины Петровны Карамзиной, жены врага народа Антона Хмельницкого, соучастницы его гнусных преступлений, инсинуаций и клеветы на наш вопиюще передовой образ жизни. Из партии ее погнали, не дожидаясь окончания следствия, и уже беспартийная гражданка Карамзина носила мужу передачи в следственный изолятор, уговаривала охранников взять белый хлеб, когда у подследственного открылась язва, и прятала кусочки масла в свежие буханки.

Допросы, казалось, будут длиться вечно, а обыски сделались нормой жизни.

Был выходной, я лежала с ангиной, и моя температура ползла все выше, приводя мать в еще большую панику. Зазвонил телефон, и вкрадчивый голос следователя Казачкова осведомился:

— Как самочувствие, Нина Петровна? Как дела на работе?

— Какое, к черту, самочувствие, — вскипела мать, — ребенок болеет, с работы скоро погонят, а вам все нейдет!

— Нина Петровна, нам нужно поговорить, — миролюбиво произнес Казачков, — У вас болеет дочь, и мы не станем вызывать вас на допрос. Мы можем побеседовать в вашей квартире. Надеюсь, вы не против?

— Против или нет, какая разница, — усмехнулась мать, — вам нужно убедиться, что я дома.

— Вы — умная женщина, — похвалил Казачков, — Сейчас подъедем.

Через десять минут в дверь позвонили, и на пороге возник следователь собственной персоной. Был он не один: сзади напирала два похожих друг на друга товарища, у стены скромно жалась женщина и женщина.

— Товарищ Карамзина, у нас есть санкция на обыск. Понятые, пройдите в квартиру.

— Казачков, какая же вы...., - мать стиснула зубы, — Я же сказала, болеет ребенок!

— Вот именно, — подтвердил Казачков, — вас по-другому не застанешь!

Первое, что сделали серые дяденьки — подняли меня с кровати, основательно со вкусом ее перетрясли и уж потом перешли к настоящей охоте.

Я ходила по квартире вслед за понятыми,

поражаясь изобретательности, с которой отец прятал главы своей диссертации. Но куда больше меня восхищала сообразительность дяденек, которые не просто находили эти места, но по пути разбирали такие предметы, о существовании которых я не подозревала.

— Господи, — взмолилась понятая тетенька, — уберите ребенка, не нужно ей смотреть!

Но я так просто не убиралась. Я тщательно запоминала тайники, места потенциальных кладов и еще отчаяннее температурила от возбуждения и азарта.

Когда «безликие» покинули наш дом, сгибаясь под грузом отцовских трудов, я залегла в постель, укрылась с головой и поклялась, что научусь так прятать вещи, что ни одна ищейка не найдет. И кое-что еще я поняла в тот день: я поняла, что чувствую предметы, могу найти любую вещь и отыскать любой тайник.

На следующий день приехала бабушка, седая, постаревшая. Она обняла меня, горько вздохнула:

— Проклятые коммунисты — оставили ребенка без отца!

Потом они с матерью занялись сумками, и с кухни потянуло домашней колбасой.

— Ты писала, что тебя выгнали из партии? Ну и на черта тебе эта партия, живи как жила. А те

сволочи, что Антошу арестовали, построят коммунизм и без тебя, — бабушка снова полезла в мешок, — Я тут домашнего сыра привезла, давай Антоше отнесем?

Мать страшно удивилась:

— Вы что, письма не получали? Антона перевели в Свердловск — его дело забрала областная прокуратора.

Бабушка охнула и опустилась на стул. Мать отвернулась к окну. На кухне повисла тревожная пауза.

Я крутилась у стола, в надежде, что хоть одна из женщин проявит сознательность и откроет банку с вишневым вареньем, но обо мне, похоже, все забыли.

Насмотревшись на березы, с их безликими стволами, на сумерки и вечную метель, мать занялась бельем и теплыми вещами, а бабушка вернулась к продуктам.

Примерно через час мать заглянула в комнату:

— Мы едем в Свердловск, вернемся поздно. Делай уроки, положи горло, по дому не скачи!

Когда за матерью закрылась дверь, я покопалась в отцовской фонотеке и отыскала там любимого Сен-Санса. Запела скрипка, застонал фагот, я унеслась в другое измерение. В те годы приступы танца случались со мной постоянно, и каждый раз я забывала обо всем: о том, что на

дворе зима, что снег идет сплошной стеной, что мой удел — лишь крики тренеров, пот, слезы, шум воды и нескончаемый заплыв, длиною в жизнь. Полет мой проходил на высоте, неведомой брэнному миру. Здесь не было ни тренерских свистков, ни школы с вечным Perfect Tense, ни матери с ее бесконечным нытьем — никто меня не попрекал за тройки и немытую посуду. Струилась мелодия и заполняла вселенную, и обнажала суть вещей. Слетала скорлупа, и чувства обострялись. Я знала, где истина — она по ту сторону, рядом с моим отражением — за лакированной дверцей платяного шкафа, именно там происходят самые важные, самые солнечные события моей жизни, а снегопад за окном — лишь робкий зритель, опоздавший на спектакль.

Когда мать с бабушкой вернулись из Свердловска, я лежала в постели, свернувшись клубочком, и тихо дремала.

— Какой все-таки гад, этот ваш Казачков! — процедила бабушка. — Как его только черти носят?

— Да что там Казачков! — подхватила мать, — Бабурин — вот кто настоящая сволочь — сдал Антона властям. Антон ему доверял, считал другом, давал почитать диссертацию, а тот донес на него в КГБ.

— Ничего, отольются ему наши слезы! — прошипела бабушка, — Достану яду и отравлю

подлеца.

На утро бабушку выдворили из города. Конвой проводил ее до станции, проследил за тем, чтобы она села в поезд. Недоваренный борщ остался на плите, на подоконнике осталась миска с фаршем. Мать грустно покачала головой, поставила фарш в холодильник, натянула пальто и пошла на работу, проклиная вездесущую прослушку и бабушкин длинный язык.

С отъездом бабушки мы снова оказались в изоляции. Из всех отцовских приятелей, вхожих в наш дом, из всех коллег и сослуживцев, один только дядя Валера отважно навещал семью диссидента, заботился о нас и опекал. От него я узнала, что мать восстановили в партии и снова исключили уже с другим диагнозом, но с теми же симптомами. Материнского энтузиазма сей факт не охладил — она продолжала сгорать на работе, предоставив бассейну заниматься моим воспитанием. Теперь не мать, а дядя Валера водил меня в кино и в театр, находил свободное время, чтобы поболеть за меня на соревнованиях, вместе со мной покататься на лыжах, послушать с балкона «Летучую мышь».

Как выяснилось, помнил обо мне не только он. В канун Рождества обо мне вспоминала Европа, и мой почтовый ящик оживал. Конверты всех

размеров и цветов, странные марки, чудные открытки, такие яркие, такие непохожие на унылые советские поздравлялки, с их куцыми елками и рахитичными зайцами. Активный западный радиослушатель забрасывал меня картинкам фламандских улиц, мордашками лубочных пупсов, традиционными библейскими сюжетами.

Я подолгу разглядывала картинки, перечитывала теплые слова поддержки, до дыр мусоля словарь. Послания меня не вдохновляли, не утешали в трудный час, не делали частью свободной Европы — я просто была счастлива оттого, что держу в руках яркие кусочки чьей-то реальности, глажу подушечки искусственного снега, кристаллики чужой зимы. Я охापками таскала их во двор, с готовностью показывала всем, кто пришел посмотреть на это рождественское чудо и нещадно его разворовывал при каждом удобном случае.

Но праздники быстро кончались, и я возвращалась в бассейн. Первая тренировка начиналась в шесть утра, а к семи вечера я уже чувствовала себя ластоногим чудовищем, выползающим на сушу за парой жалких троек. На берегу ничего не менялось: все та же кучка неудачниц в раздевалке, все те же мамашины приятели из разряда сочувствующих, все тот же английский язык. Соревнования, сборы,

бесконечные тренировки — все слилось для меня в единый мутный поток, по которому я скользила навстречу московской олимпиаде, пожертвовав своим и без того веселым детством.

Пока я плавала и добывала результаты, мать посещала модные курорты. В погоне за молодостью и красотой она скакала по грязелечебницам, проходила курсы очищения, выбивала путевки и талоны на диетическое питание.

— Мои дни сочтены. Я ужасно больна. Не знаю, сколько еще протяну, — повторяла она и пускала слезу.

Дети доверчивы, верят всему и близко к сердцу принимают боль. Я безумно боялась за мать. Ее «откровения» и трагические вздохи рвали душу на части и, каждый раз, провожая ее в санаторий, я мысленно прощалась навсегда.

Здравницы Крыма и Кавказа благотворно влияли на мать: она возвращалась домой отдохнувшей, и какое-то время мы жили спокойно. Потом ей становилось скучно, и на место шаткого мира приходил устойчивый конфликт. Вся прогрессивная система воспитания сводилась к угрозам и шантажу: мать запирала меня в туалете, снимала трубку, набирала номер и нарочито громко пристраивала меня в городской интернат. Первое время я билась о стены, кричала и плакала, переживая все новые приступы удушья. Скорее

всего, в тот момент у меня развилась клаустрофобия: казалось, что стены сдвигаются в узкую щель, темнота обволакивает, затягивает внутрь, и каждая клеточка стонет от этой физической боли.

Со временем я привыкла к подобным экзекуциям, перестала плакать, биться и кричать и тут же услышала, как после каждого набора цифр, мать неизменно нажимает на рычаг. Так острый слух помог мне обнаружить, что мать никуда не звонит, а сбросив вызов, говорит в пустоту. Теперь я тихо злобствовала в заточении, но больше не металась, не рвалась. Мать еще долго практиковала колонии и детские дома, не замечая провала спектакля. В конце концов ей наскучила игра в одни ворота, без выплеска эмоций и криков из партера, она потеряла ко мне интерес и завела очередной роман.

Ей было невдомек, что я усвоила уроки шантажа, его жестокую школу, запомнила все правила игры и самые циничные приемы. Теперь уже я запиралась в ванной комнате и грозила покончить с собой. Результат всегда превосходил ожидания: ни в туалете, ни в ванной нашей скромной квартиры замки не приживались, щеколды бесследно исчезали, а двери болтались на петлях. Чинить все это хозяйство было некому, поскольку среди матушкиных ухажеров попадались

все больше безрукие, до ремонта негожие и прыткие только по части дел альковных.

Отцу дали два года строгача и отправили сначала в Омск, потом в какой-то северный городишко, где в скором времени он получил представление о жизни по ту сторону закона. Наезды уголовников, угрозы паханов отец встречал спокойно, с холодной решимостью. В ту пору он был готов ко всему, а отчаянье делало его непредсказуемым, отбивало у сокамерников охоту издеваться, диктовать свою волю. Бабушка писала отцу длинные письма о том, что жизнь на этом не кончается, что мир гораздо больше, чем барак, а любовь не посадишь за решетку. Писала, что нужно жить даже за пределами свободы, что нужно любить, не смотря на разлуку, верить в дочь, помнить мать — тот единственный причал, который ждет тебя любого. Письма этой простой деревенской женщины лучше всех философских трактатов, загадивших голову отца, вытягивали на поверхность из той inferнальной трясины, в которую он стремительно рухнул на взлете карьеры, и куда так заботливо определил его виртуозный мясник человеческих душ — комитет государственной безопасности. Отцу повезло: один раз от садиста-охранника его спас тюремный врач, другой раз сокамерники отступили перед стеной

отцовского отчаянья. В конце — концов, с ним начали считаться, к нему стали приходить за юридическим советом.

Два года — срок относительный. Для меня он летел, для отца проходил, для бабушки тянулся вечно. Время — ускользающая нить: одни события проносятся быстрее, их просто помнишь, отмечаешь среди прочих, другие длятся бесконечно. Однажды я споткнулась о реальность и вслух произнесла: «Мне три года», и было в этой фразе столько знания и смысла, такое понимание сути, какое бывает, пожалуй, на закате, когда бросаешь взгляд на уходящий мир и, осененный, даешь название предметам. Отец в своем распоряжении имел два года: что понял он за это время, чему научился, что утратил — все сложилось в причудливую мозаику дальнейших событий, все отразилось на холсте его судьбы.

Он вышел на свободу поздней осенью и тут же уткнулся в колючую проволоку, отделявшую прошлое от настоящего. В город к семье его не пустили, в трудоустройстве отказали, переписку вскрыли. До самой зимы отец метался между Горьким и Москвой, искал квартиру и работу. Сгодились пять дипломов высшей пробы: отца взяли грузчиком на кондитерскую фабрику, тем самым подтвердив стремительный духовный рост советского пролетариата.

Приближался новый год, на окнах светились гирлянды, из форточек торчали авоськи с домашними пельменями, на балконах крепили холодцы и студни, а москвичи рыскали по городу в поисках тортов и мандаринов. Подняв воротник и ежась от порывов, отец брел по набережной. Он щурился на фонари, на зеркала витрин, на свет московских окон. Этот свет отразился от зрачка, дрогнул, излился наружу теплой струйкой нежданной печали. Мальчишки, пробежавшие мимо, что-то крикнули про снежную бабу. Отец посмотрел им вслед, что-то вспомнил, свернул в переулок и в ближайшем киоске купил почтовый конверт. Придя домой, он сел за стол и написал серьезное письмо.

Письма отца были жесткими и назидательными. Я трепетала, получив конверт, подписанный его рукой, и долго вчитывалась, постигая суть. Но вот передо мной открылась глубина и мудрость строк, недюжинный талант его посланий. Тогда-то мать и начала ревновать меня к отцу, к той скрытой стороне моей жизни, к той готовности, с которой я цитировала письма, с которой выполняла советы этого чужого, как ей казалось, человека. Она беспардонно вскрывала конверт, читала текст, швыряла мне прочитанный листок. Кончалось всегда одинаково: мать сажала

меня за стол и диктовала ответ, методично выделяя знаки препинания и трудные орфограммы. В конце концов, отец не выдержал и посоветовал ей не лезть в нашу с ним переписку и не навязывать ему свои мыслишки. Мать хмыкнула, пожала плечами и с той же легкостью взялась за бабушкины письма. Какое-то время бабушка терпела, но вскоре перестала отвечать...

В седьмом классе я стала мастером спорта. В те дни мои конечности уже напоминали плавники, мозги — болотистую массу, в которой жалко хлюпали остатки мыслей. Молодые люди шарахались при виде мокрых волос, кроличьих глаз и вмятин от очков. Во сне я вздрагивала каждой мышцей, а на уроках спала, прижавшись к батарее. Вода с волос сочилась на учебник, посылая на дно древний мир с его очередной империей.

Карьера матери наладилась и устремилась в гору после того, как умные люди из комитета вызвали ее для доверительной беседы.

— Говорят, Нина Петровна, вы якшаетесь с приятелями бывшего супруга.

— От чего ж бывшего, наш брак не расторгнут.

— Ваш, с позволения сказать, супруг проживает в другом городе, семье не помогает, в воспитании дочери участия не принимает.

— Еще как принимает! Да вы не хуже меня знаете, что он ей пишет.

— Зачем вы так! Мы вашу дочь не контролируем.

— Зато контролируете ее отца.

Комитетчик откинулся в кресле, изучая неговорчивый экземпляр:

— Вы уже в курсе, что гражданина Хмельницкого снова выслали за сто первый километр?

— Опять? — ахнула мать и всплеснула руками. — Что опять не понравилось московским товарищам?

— Уж больно тесно он общается с людьми, толкнувшими его на преступную стезю, — и с чувством добавил, — Вас это тоже касается, товарищ Карамзина.

— А что мне остается, жене врага народа, как не общаться с себе подобными?

— Ну, это мы исправим, — улыбнулся комитетчик. — Ваша свекровь — женщина неменяемая, сотрудничать не желает, несет антисоветчину. Заявила, что криминальные работы своего сына сдавать не собирается. Но вы-то человек разумный, у вас дочь, которой нужно дать образование, которую нужно кормить и одевать. Ваш нищий муж вам не опора. Он — далеко, на помощь не придет, а вот потопить может и очень

даже скоро. Подумайте, Нина Петровна! Все от вас отвернулись, все кроме партии.

— Да ладно! — скривилась мать, — Забыли, что я уже дважды беспартийная?

— Это явление временное и ошибочное, — покачал головой душка-майор, — Я думаю, мы сможем восстановить вас в партии и дать, так сказать, второй шанс вашему здравому смыслу. Понимаете, о чем я? Не делайте глупостей, не повторяйте ошибок, и вас ждет блестящая карьера. С вашим-то умом и вашими амбициями! Не говоря о вашей внешности, которой грех не воспользоваться...

— Чем мне там грех не воспользоваться? — сощурилась мать.

— А вот хамить не надо! Работа у вас пока есть, жилье тоже. Дочь худо-бедно учится в спецшколе, бассейн посещает. Желаете пойти по стопам супруга — вперед. Только мы вам предлагаем жизнь достойную и честную. Восстанавливайтесь-ка в партии, да налаживайте свою карьеру, дорогая наша Нина Петровна! И кончайте со своим никчемным прошлым и таким же никчемным супругом! Беспартийная, вы могли встречаться со всяким сбродом, а вот член партии себе этого никогда не позволит, и всегда будет иметь за спиной надежный тыл и поддержку товарищей. Мы будем внимательно следить за тем,

чтобы вас не обижали и не препятствовали вашему продвижению вперед.

Душка не солгал: спустя два года мать возглавила партийную ячейку школы, а еще через год стала ее директором.

Отец рвался в Москву с отчаянным упорством: каждый раз он устраивался на работу, получал очередное жилье и забирал меня к себе. Месяц спустя органы объявляли его неблагонадежным и высылали за пределы области. Я возвращалась к матери в наезженную колею и продолжала плавать в бассейне, а заодно и в школе.

Скитание по городам, спортивным клубам и школам не прибавляло ни мозгов, ни жизненного опыта. Я только больше отдалялась, становилась чужой, как на радиоактивных уральских сопках, так и в Москве, где мало кому была нужна со своим стандартным набором титулов и жалкими достижениями в учебе. И лишь на Украине оставалось еще что-то теплое, родное и вечное, во что я верила и в чем не сомневалась.

Годам к четырнадцати во мне проснулся интерес, и слеповатый от рождения левый глаз начал поглядывать на молодых людей, населявших мою спортивную планету. То справа, то слева проплывали дельфиноподобные самцы с фигурами Давида и мозгами Голиафа. Их мускулы картинно

играли в струях воды, а локоны чувственно стекали на загорелые затылки. Мальчишки из внешнего мира терялись на фоне плечистых парней в тугих плавках. Вальяжная походка, твердый взгляд и полная уверенность в себе — вот формула, разившая девчонок наповал, простой прием, сбивавший с ног и умников, и острословов всех элитных школ. Одна беда — разговор с пловцами давался мне с трудом: на первой же минуте он вливался в спортивное русло, на второй закисал там окончательно, а на третьей вызывал зевоту и желание уйти в монастырь.

Одноклассники меня сторонились, опасаясь то ли удара в глаз, то ли плевка в физиономию. Чего еще ждать от дочери врага народа, которая выползает на сушу только в отсутствие сборов, соревнований и гастролей по Москве. Да, я была еще той штучкой!

— Вам, жителям столицы, с нами скучно, — смеялся Стас, когда я возвращалась из Москвы с переломанной техникой и взлохмаченной психикой. Он гнал волну к моим ногам, — В Индии жара. Принцесса недовольна...

Стас был ходячим парадоксом: умница-философ, с прекрасными спортивными данными, развязными манерами и вопиюще смазливой внешностью. Стас — мечта всех водоплавающих и сухопутных барышень нашего

городка, откровенно пялился в мою сторону, таскал за мной сумку и названивал по ночам. Его странный выбор удивлял не только девиц, готовых удушить меня в раздевалке, но и меня саму.

— Ты единственный человек в этом захолустье, с которым можно говорить, не померев с тоски, — шептал он в трубку.

Со мной что-то явно было не так: красавец Стас мне действовал на нервы. Я находила в нем море достоинств, пригоршню недостатков, но так и не научилась испытывать к нему теплых чувств. Его забота утомляла, ухаживания раздражали, вот только без них становилось совсем безотрадно...

— Ты все еще меня не видишь, но ничего, я подожду.

И снова по первому же зову он возвращался ко мне из всех своих любовных походов.

В июне я пришла второй на первенстве России, а через месяц в составе сборной выехала в Сочи.

Пятнадцатый август своей жизни я провела на турбазе у Черного моря. Тренера не загружали нас физически, упирая на режим и питание. Дни напролет мы объедались арбузами, болтались по городу, устраивали дискотеки и мечтали только об одном — оторваться по полной в канун очередного сезона.

Шла последняя неделя сборов. Загорелые и откормленные, мы лениво перекидывались в дурака, когда дверь распахнулась, и с грацией электровоза в комнату влетела Любка-баттерфляй.

— Шторм начался! — протрубила она.

Услышав благую весть, мы кинулись к морю, на ходу натягивая плавки.

Это был поистине королевский подарок: пятибалльный шторм, пустой пляж и ни одного спасателя на обозримом пространстве. Волны, одна свирепее другой накатывали на берег, разбивались в пену и пятились, шипя как змеи.

— Правила помним? К волне лицом! Нырять в основание, а не на гребень! Чем дальше от берега, тем проще резать волны! Добровольцы вперед! — крикнул тренер и первым прыгнул в воду.

За ним шагнуло несколько девчонок. Их тут же выбросило на берег и протащило по гальке под рев и хохот зрителей. Любка-баттерфляй возглавила второе шествие. Как и в предыдущем случае, ее мигом прихлопнуло, опрокинуло и вынесло к нашим ногам. В это время трое могучих ребят проскочили прибой и успели прорезать волну. Их головы показались в пятнадцати метрах от берега. Они держались вместе, громко кричали и синхронно исчезали за трехметровой стеной. Картина казалась нереальной, она притягивала как магнит, и ноги сами понесли меня к воде.

— Проскочишь первую — считай, что повезло! — услышала я голос Стаса, — Нырять в подножие!

И я нырнула. Со мной плюхнулось еще пять человек и, словно стайка пингвинов, мы поскакали по волнам. Лишь здесь, у самой кромки бездны, я поняла, как хрупок человек, как он беспомощен и жалок, как пестует свой эгоизм, ошибочно приняв его за силу. Здесь, среди вздыбленных валов, он лишь незванный гость, бросивший вызов великому первобытному явлению по имени стихия.

Волны шли одна за одной, не давая опомниться и отдышаться. Тех, кто пытался вернуться на берег, ждала атака с тыла: стена воды настигала беглеца, сбивала с ног, закручивала под себя и тащила обратно в разверстую пасть. Попав в замкнутый круг, бедолага цеплялся за дно, пока волна-откат вертела и трепала, утягивая за собой. Счастливики, сумевшие бежать, барахтались на берегу в нелепых милых позах, те, кто отполз, вытряхивали гальку из штанов.

Я засмотрелась на забавную картинку, и в этот миг на меня упала мгла, весом с полтонны. Закутав, словно младенца, она потащила меня на самое дно, стукнула там головой, присыпала камнями, затем сменила курс и разом схлынула. Секунду- другую я не могла понять, где верх, где низ, потом рукой нащупала опору и оттолкнулась от нее. Сразу стало

светлей, а в серой мути замаячили обрывки пены. Я выбросила руки, приготовилась вдохнуть и тут же попала под новый бурун. Не прошло и секунды, как я оказалась на гребне волны и в авангарде всей этой махины понеслась по знакомому маршруту. В голове проплыла равнодушная мысль, что вдохнуть уже вряд ли удастся. Зашумела вода, мысль заклинило и унесло куда-то вбок, навстречу новой реальности или нереальности, что на данный момент не имело значения. Из сумерек меня достали чьи-то руки. Я жадно вдохнула и снова зажмурилась — над нами навис фантастический вал. Тело привычно погрузилось под воду, но в этот раз меня крепко держали, не давая кувыряться и барахтаться на дне в компании дохлых крабов. Добрый тренер прервал процедуры на пике веселья и доставил на берег мое измотанное тело. Стоит ли говорить, что в тот день я стала чемпионкой по количеству пойманной гальки.

После сборов мы разъехались по разным городам: я — в Москву, Стас — в Ленинград, но не прошло и недели, как в квартире отца зазвонил телефон, и голос Стаса сообщил, что ждет меня у станции метро. Да, на такое был способен только Стас, который не укладывался в рамки бытия, для которого порыв равнялся вдоху, а мнение других являлось лишь помостом, с которого можно плевать на это самое общественное мнение. Что творилось в

его голове — для меня оставалось загадкой, я цеплялась за логику его поступков, но каждый раз безнадежно путалась и теряла нить. Девчонки взрослеют быстрее парней: включается небесный механизм, приходит осознание природы, и сверстник вдруг становится ребенком. Стас был старше на один год, и ровно на один год он был взрослее, значительно взрослее и предательски старше на все 365 дней. В его присутствии я чувствовала себя наивной и страшно злилась на весь мир.

В короткий промежуток между рейсами я умудрилась наговорить ему кучу обидных слов. Я не простила Стасу его чувств, а он не стал меня наказывать за равнодушие. В тот же вечер он вернулся в Ленинград в свой знаменитый водный рай, растивший олимпийских чемпионов и рекордсменов всех мастей.

Стас улетел, а я осталась, и все вернулось на свои места: столица, олимпийский центр, диета и талоны.

Отец все также ревностно выстраивал мой быт. «Лежа не читай! Вымой руки! Не смотри телевизор! Найди себе занятие! Не болтайся без дела!» — вот фразы, звучавшие в перерывах между бесконечным мытьем полов и чисткой кастрюль.

И все же в глубине души мне было жаль этого

метущегося человека, вечно гонимого, вечно травимого и такого неустроенного. Бывали времена, когда обиды отступали и начиналось время диалога. Говорил отец долго, увлеченно, сыпал парадоксами, историческими фактами, подкрепленными самобытной философией сиюминутных мелочей, которые, как ему казалось, и в чем он был фанатично уверен, правят миром. Вся жизнь, по его мнению, версталась из поступков и деяний в каждый миг бытия, и эта самоотверженная возня слагала общую картину совершенства.

— А как же безмятежность? Эмоция? Порыв? Ты не допускаешь их присутствие в жизни? — я не могла смириться с тем, что мир настолько прагматичен.

— Все, перечисленное тобой — есть ни что иное, как следствие праведной жизни. Праведной по отношению к себе самой и к собственному будущему. Радость — это надстройка, она тем выше, чем качественнее прожитый до нее отрезок времени.

— Отрезок безрадостный?

— Учись черпать радость из рутины. Скука там, где бездействие. Радость примитивна, если не имеет выстраданной почвы. Тебе скоро пятнадцать, пора подумать о будущем. С твоей внешностью трудно рассчитывать на хорошую партию, придется

много трудиться, чтобы стать интересной.

Вот с этим у меня проблем как раз не возникало, хотя отцу об этом знать не полагалось. Сама я толком не вникала в природу этого явления. Просто в нужный момент мир начинал вращаться вокруг меня, и я безмятежно существовала в самом его эпицентре со всеми своими внешними и внутренними недостатками.

С раннего детства я хранила один, очень странный секрет...

— Смотри, какой большой трезубец! — улыбнулась гадалка, разглядывая мою ладонь. Мы сидели в маленькой комнате: я — пятилетний ребенок и молодая цыганка, укравшая меня у входа в магазин. Что за трезубец, я не знала, но запомнила выражение лица, с которым цыганка изучала мою руку. Экскурс в хиромантию окончился довольно быстро: дверь распахнулась, и в комнату ввалилась куча разъяренных теток. Трезубец их не интересовал, они галдели и размахивали сумками. В проеме появилась мать. Сметая строй и брызгая кефиром, она примчалась вызволять меня из плена. Пять минут спустя с кочевой жизнью было покончено, и я вернулась к цивилизации.

С тех пор прошло немало лет, воспоминания поизносились, но в одном я была уверена твердо: трезубец — он и только он в ответе за мои победы. Случалось, впрочем, подлый лицемер и подводил

меня нещадно.

Отец об этом случае не знал. Он продолжал пилить меня и сетовать на внешность. Я дала ему слово прилежно учиться и развиваться до заоблачных высот. Но отцу и этого казалось мало.

— Мозги — дело хорошее, но тело женщины должно быть безупречным. Не стоит все пускать на самотек. Я думаю, массаж тебе не повредит.

Массаж я любила, а массажистам доверяла. Со мной всегда работали серьезные ребята: они разминали забитые мышцы, лечили травмы, вправляли позвонки. Услышав предложение отца, я с готовностью улеглась на живот, расслабилась и задремала. Отец размял мне плечи, активно прошелся по спине, по пояснице, его руки опустились к бедрам... Сон как рукой сняло, и я сжалась в комок от ощущения чего-то вопиюще неправильного и абсолютно недопустимого.

На утро я сбежала к матери и трое суток просидела под одеялом. На четвертый день я вылезла на белый свет, зашвырнула подальше очки и купальник, вывалила на стол учебники и впервые погрузилась не в воду, а в жизнь. В бассейн больше не пошла.

От моего вероломства мать пришла в ярость. Упреки посыпались градом, скандалы слились в один протяжный вой. Тренера забили тревогу, а учитель физкультуры обозвала меня дурой и

перешла в наступление, избрав оценку орудием мести. После ее уроков меня выворачивало наизнанку, от нагрузок темнело в глазах. Мои одноклассники хлопали глазами, не понимая, почему мастер спорта не может сдать нормативы ГТО, в то время как рыхлые и малоподвижные девахи получают «отлично» за одно поднятие ноги. Но мне был нужен аттестат и аттестат приличный, поэтому я продолжала бегать с резвостью сайгака, склоняться над унитазом и получать вымученные четверки по великой физкультуре. Похоже, мое рвение всех только раздражало. Учителя пожимали плечами и громко вздыхали — гораздо спокойнее было ставить привычные тройки, не дослушав ответ, а в конце сочинения писать дежурное «Тема не раскрыта». И все же упорство дало результат, а силы и время, спасенные у спорта, помогли устоять — к последнему звонку мои оценки достигли заветных высот.

Голову распирало от знаний, а тело от отсутствия нагрузок, но впереди маячило жаркое лето. Предстоял заплыв, длинной в пять лет: выпускные — вступительные — студенческий билет — зачетная книжка, а на финише — вождеденный диплом.

Чтобы мать не пилила меня за талоны, я взяла на себя все заботы по дому и устроилась работать машинисткой. Уроки делала ближе к ночи: читала

параграф и по памяти записывала в толстую тетрадь. Таких тетрадей у меня накопилось четыре — по количеству вступительных экзаменов. Мать, получив стерильные полы, хрустящие простыни, горячий ужин и стабильный оклад, махнула на меня рукой. Собственная карьера занимала ее куда больше, а кавалеры скрашивали ей досуг...

Один из таких почитателей пришел к нам как-то в дом и устроил сеанс красноречия. Он пел серенады, тянул ручонки и пускал слюну в то время, как мне, уставшей и задерганной, ужасно хотелось спать. После очередного «Миша, отстань!», я вышла из спальни, вытолкала приставучего Мишу в подъезд и спустила с лестницы. Элегантный и мало тренированный учитель музыки летел чинно и вполне артистично, а я, получив долгожданный покой, вернулась в постель. Совесть моя этой ночью спала безмятежно.

Зазеркальный дом

Все, что не есть стихия, но ее порожденье.

Итак...

Стояли душные майские дни, подходил к концу учебный год. Подготовка к экзаменам занимала все умы и время, самой природой предназначенное для свиданий и стихов.

Мои амбиции, сарказм директора и ухмылки учителей сделали свое дело. С холодным испуганием я пробиралась сквозь завалы книг, мечтая доказать наличие мозгов. Я рвалась в Москву, в известный ВУЗ, зная, что путь туда наглухо закрыт для таких неблагонадежных семей, как моя. То ли весна была слишком долгой, то ли ресурс мой себя исчерпал, только я начала замечать приступы слабости и головокружения. Развязка состоялась очень скоро: после экзамена я потеряла сознание. Врач измерил давление, сделал укол и отправил домой. К вечеру мне стало хуже, и я поплелась в поликлинику, на чем свет проклиная духоту и час пик. Участковая дама надела тонометр, приставила фонендоскоп... и тут ее скуку сняло как рукой. Побросав все приборы, она выскочила из кабинета и вернулась обратно в компании двух докторов. Следующие десять минут мне стягивали плечо и мяли запястье, тарасились то на прибор, то на меня, то снова на прибор. После долгих споров консилиум определил мое состояние как глубокий обморок, потому что с давлением 40/25 полагалось лежать без сознания. Переспросив десять раз и убедившись, что я действительно приехала одна, участковая вызвала мать и села оформлять бумажки. В тот же вечер меня положили в больницу с тавтологическим диагнозом вегето-сосудистая дистония по сосудистому типу.

Подобный приговор меня не огорчил — я просто завалилась спать и проспала целые сутки, впервые в жизни забыв обо всем.

Мои соседки по палате оказались настоящими ипохондриками — вместо прогулок и чтения книг они обсуждали болячки. Слушать их было невмоготу и, отоспавшись, я сбежала из палаты. В отделении было пусто: солнечные лучи стекали в открытые окна, струились по стенам. Я прошла по длинному коридору, спустилась на первый этаж и вышла на улицу под нежный лик заката. С моим появлением местное общество пришло в движение: голоса стали громче, а жесты развязней. Я отыскала пустую скамейку, залезла в заросли ольхи, открыла книжку, приготовилась читать... и тут поймала на себе пронзительный тревожный взгляд. Меня как будто обожгло: никто из ровесников так не смотрел. Было в этом взгляде столько опыта, столько силы и уверенности, что мне стало неловко. Какое-то время кареглазый наблюдал за мной со стороны, потом приблизился и, мягко грассируя, произнес:

— Хотите почитать «Мастера и Маргариту»?

Я молча уставилась на незнакомца. Тот понял правильно и протянул мне ксерокопию в домашнем переплете. От удивления я захлопала глазами и тут же услышала, как однажды весной в час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах

появились два гражданина...

К моменту погони я уже знала имя чтеца — Марк, его преклонный возраст — 28, а вечером, когда явилась мать, мы всю обсудили диагноз Ивана. Мать отвела меня в сторонку, брезгливо поморщилась, глядя на Марка.

— Да, экзотическую ты нашла компанию!

Насчет экзотики я ничего не поняла, поэтому просто рассказала ей о книге. Мать пожала плечами, что-то хмыкнула на тему иудеев, а я посмотрела на Марка, сидевшего в обнимку с переплетом, подумала, что он хорош собой и решила, что время покажет.

На следующее утро Марк встретил меня у дверей:

— Как насчет шахмат?

— Ну, если не боишься...

Он расставил фигуры и шумно вздохнул. С первых ходов стало ясно, что шахматист он никудышный и, кончив партию, мы порешили, что играть буду я, а Марк будет искать соперников и заключать пари. К обеду я стала обладательницей двух плиток шоколада и одной коробки конфет, а за моей спиной вырос гонец, экипированный для бегства в магазин. Гамбит закончился моей безоговорочной победой, народ зазвенел серебром, гонец собрал наличность и тут же ускакал.

Вечер в компании Кагора прошел на высоте:

участники изрядно набрались. Нетрезвый Марк смотрел мне прямо в душу и повторял, что наша встреча — знак судьбы, а я — событие, которого он ждал.

Шло время, книга летела к концу: уже и петух прокричал рассвет, и «Славное море» было пропето, и сцены бала безумным вальсом пронеслись в разверзнутую пасть камина. Я уже гадала, чем кончится встреча на крыше высотки, когда сменился мой лечащий врач. Виктор Петрович, седовласый заведующий отделением, похожий на падре, самолично озаботился моим исцелением. Он пригласил меня в свой кабинет, задал несколько простых вопросов, выслушал жалобы и перешел на доверительный тон:

— Я слышал, ты читаешь Булгакова?

Следующие двадцать минут мы обсуждали название книги, ее героев, тонкости сюжета. Я смело говорила обо всем: высказывала мысли, наблюдения, предположения и догадки. Увидев неподдельный интерес, я расслабилась окончательно и поделилась самым сокровенным: рассказала о том, что по ночам слышу музыку, но к утру не могу ее вспомнить. Рассказала о том, что отец получил приглашение из-за границы и, возможно, уедет в Британию, читать лекции в Лондонском университете.

Врач с уважением отозвался об отце, с охотой

обсудил его возможную карьеру и даже позавидовал, узнав о загранице.

— Ну, что ж, — подвел итог Виктор Петрович, — отправляйся в палату. Дочитывай роман.

Пришла суббота, отделение опустело — больные разбежались по домам. Марк тоже отбыл утешать ревнивую супругу. Я забралась на подоконник и помахала ему вслед. Стукнула дверь, я вздрогнула и обернулась: мать шла по коридору в сопровождении врачей.

— Ну, все, закончилось лечение!

В висках застучало. Я живо представила, как Марк возвращается из самоволки, узнает, что меня уже выписали, понуро бредет по двору, садится на наше любимое место и открывает заветную книгу... Картина подернулась рябью, рассыпалась в прах, а на ее месте возникла сестра:

— В кабинет к Виктору Петровичу! Живо!

В кабинете находилось трое: сам Виктор Петрович, моя матушка и тощий моложавый врач с колючими глазами. Колючеглазый изучал мою карту и дробно выстукивал карандашом. Мать испуганно жалась на стуле.

— Итак, — вместо приветствия сказал колючий, — картина более ли менее ясна. На

основании ваших, Виктор Петрович, заключений, мы можем изменить диагноз.

— Садись Вероника, — предложил Виктор Петрович, — нам предстоит серьезный разговор.

Я села на свободный стул, испуганно уставилась на мать. Колочий закрыл медицинскую карту и поднял на меня тяжелый взгляд.

— Как самочувствие?

— В порядке.

— Есть жалобы?

— Да нет...

Он повернулся к матери и произнес без перехода:

— Ваш муж лечился у психиатров?

Та дрогнула и нервно замотала головой.

— Уверены? — удивился он. — Ходили слухи о его неменяемости. Похоже, он наш пациент.

Что-то скользкое зашевелилось на дне его глаз, и я почувяла угрозу. Виктор Петрович грузно развернулся, вздохнул, сцепил руки в замок.

— Дела обстоят не лучшим образом, — сказал он, глядя поверх моей головы, — Придется тебе, Вероника, задержаться на время, пройти дополнительное обследование. Тебя переведут к Сергею Сергеичу и там продолжат лечение, согласно новому диагнозу.

Следующие пятнадцать минут он объяснял причины, по которым я должна лечиться у

товарища СС. Я плохо слушала — щемило сердце, а когда он умолк, безнадега сдавила клешней. Встал вопрос о моем несовершеннолетии и о согласии опекуна. Я посмотрела на мать, как-то сразу все поняла и разрыдалась в голос. Меня вывели из кабинета, а через пару минут мать подписала все бумаги.

Не всякая нора веет в колодец

Лечебница окружена тройной петлей колючей проволоки, по периметру вышагивают военные с собаками. Двери без ручек — их персонал носит в карманах халатов. Мертвая тишина, лишь с верхнего этажа время от времени доносятся не то крики, не то стоны. Палата на девять человек. Все на прогулке. Моя кровать у окна. Сквозь решетку видна тайга да часть прогулочной площадки. С замиранием сердца жду появления соседей. Мне сказали, что эта палата для смирных. Дверь открывается, входят больные. Ничего не выражающие лица, мутный взгляд, плавучие жесты. На меня никто не обращает внимания. Все расходятся по койкам, и только одна женщина напрягает слух, подходит ближе, тянет руки к моему лицу.

— Ты кто?

— Я — Ника.

— Привет, я — Руфина.

Глаза, как два озера, распахнутые, прекрасные и абсолютно слепые.

— Меня сюда родственники упекли, я здесь уже десять

лет. Не бойся, меня не лечат, со мною можно говорить. Смотри, не попади под инсулин!

Позвали на обед. За длинными столами все обитатели второго женского этажа. Дети и взрослые с лицами уродливых кукол, алкоголички с черными кругами вокруг глаз и аутисты — весь цвет советской психиатрии молча кладет еду в рот. Мы сидим за столом, и я бережно перекладываю огурцы в тарелку Руфины. Раздается громкий топот, и в столовую входит девочка лет двенадцати: босая, халат нараспашку, волосы всклокочены, мертвенная бледность щек и злобный взгляд без проблеска мысли. Я дрожу всем телом, и тут мне на плечи опускаются чьи-то теплые руки. Я поднимаю лицо, вижу Ольгу Ивановну — нашу соседку по лестничной клетке. Я знаю Ольгу Ивановну давно и только сейчас понимаю, где она работает.

— Не дергайся, веди себя спокойно, иначе лишишься свиданий.

— За нами наблюдают и доносят докторам, — сообщает Руфина, — Свидания получают только смиренные психи.

Из последних сил стараюсь вести себя здраво, только не знаю, что входит в это понятие.

Вечером меня допрашивает врач. Я умоляю отпустить меня домой и слышу в ответ, что мне нужно лечиться. Ни интереса, ни намека на участие, только жесткие вопросы, въедливые уточнения и дежурная улыбка, не значащая ровным счетом ничего. Лечения не назначают — ждут, пока главврач утвердит диагноз, а на ночь суют в рот блестящий черный шарик, после которого я

проваливаюсь в тяжелый сон без сновидений.

Утром больные отплывают в комнату для свиданий, я сижу на кровати, жду приговора. В палату входит медсестра, в ее руке — блестящий ипприц. Резким движением она отдергивает мне рукав, я подаюсь назад и чувствую железную хватку на запястье.

— Не дергайся, это доза для младенцев. Во время свидания не вздумай психовать! — с этими словами она всаживает в меня что-то омерзительно холодное.

При встрече с матерью стараюсь не плакать, чтобы не лишиться возможности видеть нормальные лица, находиться по ту сторону двери без ручки. Я поглядываю на санитаров и отвожусь глаза. Со мной что-то явно не так: не могу сфокусировать взгляд — он поднимается все выше, скользит на самый верх...под самый потолок... Глаза закатываются, заваливается язык, сводит шейные мышцы и тянет назад, голова запрокидывается. Обеими руками хватаюсь за голову, с силой возвращаю ее на место, но тут весь процесс повторяется снова и в той же последовательности. Меня уводят в палату, укладывают на кровать. Ольга Ивановна садится рядом, гладит меня по руке:

— Не бойся, это пройдет.

— Что со мной?

— Таким образом твой организм отвечает на вторжение психотропных.

Тело сходит с ума, а мозг в полном порядке, и этой пытке нет конца. В меня вливают то глюкозу, то антидот — не работает ни то, ни другое. Четыре часа подряд я бьюсь в агонии, из последних сил тяну себя за

шею, когда становится невозможно. Ольга Ивановна мечется по больнице, звонит главврачу на домашний номер и после минутного совещания, возвращается в палату. Она кладет мне руку на лоб:

— Сикорский просит погладить тебя по голове. Расслабься, он поможет. Наш главврач — могучий экстрасенс. Сейчас он будет думать о тебе...

Через минуту я засыпаю...

... и просыпаюсь только через сутки. Мне снова дают черный шарик, и мир погружается во мрак.

Я открываю глаза: в палате светло, за окном накрапывает дождь.

Что за год на дворе? И какой нынче день? Впрочем, не все ли равно. Я мертва, и неважно, какой нынче день...

В дверях появляется Ольга Ивановна, прижимает палец к губам. Секунду спустя в палату входит мать, садится на кровать, сует мне в руку бутерброд с икрой, тревожно шепчет на ухо:

— Меня пропустили в отделение — случай беспрецедентный. Ольга Ивановна сильно рискует, но я должна тебя предупредить. Сегодня тебя поведут к главврачу. От этого разговора будет зависеть твой диагноз. Я звонила, пыталась ему объяснить, что ты не больна, что меня обманули и вынудили подписать.

— Что он ответил?

— Сказал, что не слышал ни слова, а в твоих симптомах разберется сам.

— Когда идти?

— Прямо сейчас... И, пожалуйста, думай, что говоришь! Не рассказывай лишнего!

Ольга Ивановна торопит нас на выход.

— Тебе пора, мне тоже, — мать тычет пальцем в бутерброд, — Слижи хотя бы икру!

Я заталкиваю в рот весь кусок, говорю: «Шпашибо!» и выхожу из палаты.

Вид главврача меня смущает — он выглядит молодо и несерьезно, а еще напоминает Пьера Безухова — такой же неуклюжий очкарик.

Какое-то время мы просто говорим: обсуждаем погоду, последние фильмы. Я рассказываю ему о школе, о бассейне, о предстоящей поездке в Москву. Сикорский тихо улыбается, потом становится серьезен:

— Ника, я задам тебе вопрос, он может стать последним, а может таковым не стать. Не торопись с ответом — подумай!

Он делает паузу и с расстановкой произносит:

— Здесь кое-что записано с твоих слов ... например то, что по ночам ты слышишь музыку. Подумай и ответь: ты слышишь ее или чувствуешь?

Последние слова он повторяет дважды.

Я с облегчением вздыхаю:

— Нет, доктор, я ее не слышу, если вы о галлюцинациях. Она звучит во мне, внутри меня, я просто ее ощущаю, я — автор. Должно быть, тот любезный врач меня не понял, а может быть, я плохо объяснила.

Сикорский улыбается и что-то пишет на листе. Я набираюсь храбрости и обращаюсь к нему:

— Позвольте мне лечиться в другом месте! Здесь я погибну!

Он поднимает на меня свои близорукие глаза:

— Девочка моя, тебе не нужно лечиться ни здесь, ни где-либо еще. Я не дам тебе расплачиваться за грехи твоего отца. Ему уже не помочь, а вот тебя я защитит сумею. Живи дальше, занимайся спортом, поступай в свой ВУЗ, и не вспоминай больше ни обо мне, ни об этом месте.

Мое заключение длилось неделю и стоило мне семи дней жизни.

На утро я покинула лечебницу и больше не возвращалась туда даже в мыслях.

* * *

Вступительные экзамены прошли как в дыму. Я с трудом выходила из седативного клинча, плохо засыпала по ночам и панически боялась любых скачков давления.

Экзамен по английскому был первым и ключевым — сквозь эти жернова прошло не больше десяти процентов.

Моя фамилия оказалась в последней пятерке, и ждать своей очереди пришлось целый день. Прошел слух, что конкурс выдался рекордный — двадцать пять человек на место. И теперь вся эта возбужденная толпа колыхалась у входа, то смыкаясь, то расступаясь. Меня вызвали ближе к

вечеру, когда в коридоре оставалось не больше десяти человек. Я вошла в аудиторию, уставшая и заторможенная, вручила паспорт, вытянула билет и заняла свободный стол. Текст показался несложным, грамматическое задание — посильным. Я склонилась над листком и неожиданно для себя нарисовала рожицу в медицинском колпаке. Немного подумав, дорисовала лекарю рожки и бородку, а внизу набросала план ответа.

— Девять неудов и один жалкий уд, — констатировала экзаменатор и протянула ведомость председателю комиссии.

Тот обреченно вздохнул и устало произнес:

— You may start.

И я стартанула. Мои натренированные мозги, словно мышцы пловца, мгновенно напряглись и выдали свой максимум в кратчайший промежуток времени. К концу моего выступления председатель комиссии расслабился окончательно. Покачиваясь в кресле и блаженно улыбаясь, он утвердительно кивал, сыпал изящными шутками и афоризмами. Потом заговорил по-русски:

— Спасибо вам, барышня за ответ. Четко и грамотно. Вы доставили нам удовольствие. Где остальные бриллианты, я вас спрашиваю? Где они? Почему к нам идут люди, не имеющие понятия ни о грамматике, ни об орфографии? А вас, барышня, я возьму в свою группу. Поверьте, у меня в запасе

еще много анекдотов.

Уже в коридоре я открыла зачетку... и ощутила шелест крыльев за спиной.

На экзамене по истории со мной вышла другая история. «Отлично» я получила скорее с перепугу. Открыв билет и прочитав вопрос, я шумно выдохнула и взялась за ручку. Я так боялась оказаться неполиткорректной, что истории хана Батыя, со всеми его деяниями, отвела пару скромных страниц. Зато подвиги и творчество вождя, его неизгладимый вклад в историю советского народа описывала долго и красноречиво. Экзаменаторам пришлось прервать мой монолог, и славная эпоха шалаша не получила должного внимания.

После такого мощного прорыва по основным дисциплинам, дальнейшие экзамены сделались формальностью. Я легко набрала проходной бал и вышла на конкурсную прямую.

Не прошло и недели, как я стала студенткой. А еще через неделю из ссылки вернулся отец. Он открыл мой студенческий билет и молча развел руками.

— Как ты умудрилась? Почему не написала? Я бы помог...

— Как хорошо, что не помог!

— Почему?

— Все московские спецслужбы лежали бы

костьми у входа в институт.

— И все-таки ты молодец! — уважительно произнес отец, — Вся эта история с больницей... Не думал, что у тебя хватит духу подать документы.

— Нет, папа, с духом я не собиралась. Мой дух тут не при чем — он все еще прячется где-то внутри, заколотый психотропной дрянью.

Отец ничего не ответил. Он отвернулся к реке и поежился.

Так мы и стояли, уставившись в серую рябь, по которой скользили обрывки заката.

Вниз по кроличьей норе

Блаженное студенчество, ты будто праздник, исполнено надежд и ожиданий. Ты летишь навстречу взрослой жизни, подняв забрало и веря в свою бесконечность.

Дивная пора первых зачетов и громких провалов, экзаменационной лихорадки и сизых непроглядных курилок. Ни лингафоны, ни бесконечный марксизм-ленинизм не в силах пошатнуть твоего оптимизма, а препода-садисты воспринимаются как неизбежное, но временное зло.

Очередные разборки отца со стражами режима вылились на страницы московских газет. Какой-то ретивый журналист обозвал отца

импозантным аферистом с ранней сединой, а чуть ниже — матерым агентом империализма и завзятым клеветником. В который раз отца погнали из Москвы, и мне пришлось переехать в общежитие.

На самом деле, только в общежитии узнаешь, что значит быть студентом, как подготовиться к занятиям, когда у тебя на голове скачут бесконечные юбиляры и их гости, как на жалкую стипендию прокормить себя и всех соседей по комнате и как за два часа отоспаться перед зачетом.

В те годы помощь братским народам и самое высшее в мире образование считались монополией советов. В моем институте училось полмира, а общежитие напоминало Вавилон, бурливший всеми оттенками кожи, акцентами, ароматами специй и экзотических приправ.

Представители южных народов учились из рук вон плохо, зато преуспевали в радостях столичной жизни и бурных этнических застольях. Прибалты и поляки держались особняком, пьянок не устраивали, образование получали качественное. Друзья из чернокожей Африки нередко добирались до аспирантуры, компаний не водили, финансы экономили. Лучше всех жили арабские товарищи и братья с Кавказа. Денег они не считали, родню и земляков находили повсюду, а любвеобильные славянские студентки скрашивали им путь к

высотам образования. Шестой этаж был государством в государстве — гостеприимным праздным филиалом высокогорных автономий, туземным раем, где позабыв детей, мужей, работу, все местное начальство заливало глаза самогоном и смачно закусывало пряным разносолом.

С моей новой соседкой Илоной мы ютились в убогой и тесной каморке, пока за дело не взялась ее мать. Она вытянула опухшую сизоликую комендантшу из хмельного омута, сунула ей взятку и получила ключ от лучшей комнаты на прибалтийском этаже. Прибалтийских корней у нас не было, зато имелся общий недостаток: ни я, ни Илона застолий не любили, гулянок не устраивали и волосатых ухажеров не водили. Но даже на этом святом этаже редкую ночь нам доводилось спать спокойно. Часам к одиннадцати вся этническая рать поднималась из-за стола и с шумом десантировалась к нам, на бледнолицые русоволосые этажи. Аудиенции хотели все: раньше всех на охоту выбиралась малопьющая Азия, в ее фарватере следовал Ближний Восток, за ним ордой проносился Кавказ, подминая любого, кто не успел занять оборону. Во время таких набегов мы тихо дрожали в своей комнате и молили Бога, чтобы наш замок оказался самым прочным. Однажды к нам ворвался долговязый тип из солнечной Туркмении со странным прозвищем Тишка. Не рассчитав

посадочной полосы, он пролетел всю комнату насквозь и приземлился на Илонкину кровать. Пружины жалко скрипнули под Тишкиным задом, ножки подкосились и одна за другой осыпались на пол. Тишке такая качка оказалась не по силам: он вылез из-под обломков, дополз до унитаза и что-то долго говорил ему на экзотическом утробном языке. Весь следующий день мы меняли замок, чинили кровать и внимательно слушали, не скачет ли за дверью любвеобильный и нетрезвый Тишка.

В институте расслабиться тоже не получалось: нам, детям скотского режима, родившимся под сводами тюрьмы и речь заморскую учившим понаслышке, навязывали Оксфордский акцент. Преподаватели шипели и корчились, доказывая, что нет студентов бездарнее, что интеллект наш вопиющ и безотраден. А мы все ниже склоняли головы и все усерднее жевали фонетическую жвачку.

Как ни странно, летнюю сессию мы сдали прилично, назло истерикам и воплям аспиранток.

Экзамены остались позади, свобода, первая свобода открыла дверь в огромный светлый мир. Я вышла наружу и растерялась от обилия возможностей и перспектив. От нечего делать я отправилась гулять по городу и сама не заметила, как ноги привели меня к теткинскому дому. Тетка открыла мне дверь и радостно затарахтела:

— Бегом к телефону — мать на проводе!

Я прыгнула в комнату, схватила трубку.

— Верка, я в Гагре! — услышала я голос матери, — Тут красота! Ты сессию сдала?

— Сдала без троек, на стипендию! Теперь хочу поехать к бабушке.

— Какая жалость! — погрустнела мать, — А я хотела затащить тебя на море. Здесь просто рай! У нас отличный санаторий, и есть свободная кровать.

О, Боже милостивый, море... Какие могут быть сомненья?

И я помчалась за билетом.

Взлет — посадка — рейсовый автобус — и утренний экзамен показался прошлогодним сном.

Водитель остановил автобус, включил микрофон:

— Разбудите юную красавицу, следующую до санатория героев Челюскинцев, и пожелайте ей хорошего отдыха на лучшем в мире курорте нашей необъятной родины.

Я подошла к воротам, назвала номер корпуса, фамилию матери, сиротским взглядом посмотрела на охранника и была тут же допущена к радостям прибрежной жизни.

Матери в номере не оказалось, и дверь мне никто не открыл. Я потопталась немного на месте, закинула сумку и поплелась на выход.

Уже на улице меня окликнула смуглая женщина в темной косынке:

— Ты кого ищешь, девочка?

— Маму ищу, но ее нет в номере, — почему-то призналась я.

— Идем со мной! — позвала меня женщина и зашагала к маленькой пристройке.

В подсобке было уютно и пахло травами. Хозяйка поставила передо мной тарелку с помидорами, достала кусок брынзы и лаваш:

— Кушай, это домашние помидоры, брынза тоже своя. Сейчас позвоню дежурному, попробую найти твою маму. Как, говоришь, ее фамилия?

Женщина долго стрекотала по телефону на непонятном языке и, наконец, объявила, что мать, скорей всего, уехала в Пицунду.

— Вернется через час, — пообещала она, — Экскурсия до семи, а потом у них ужин. Да не переживай ты — я всех предупредила!

И действительно, не прошло и часу, как в подсобку заглянула мать:

— Ты уже здесь! Как быстро добралась! Ладно, идем, покажу тебе номер.

Таких же как я нелегалов в санатории оказалось трое: Галка из Наро-Фоминска, Машка из Львова и Вернер из Риги. Мы быстро подружились и выработали свой особый режим: с утра до

полудня плавались на пляже, потом выползали в город на поиски кормежки, а по вечерам зажигали на местной танцплощадке. С восхода и до заката наш квартет был неразлучен и распадался только в дни экскурсий. Время от времени одного из нас увозили в ресторан, когда у матушек случался щедрый спонсор.

Дождь прекратился только к утру, а в девять Вернер уехал осваивать Афонскую пещеру, в двенадцать Машку увезли на спонсорский обед, и мы с Галкой остались не у дел. Не в силах жариться на солнцепеке, мы выклянчили денег и сбежали в город. Гагра пребывала в полуденном обмороке: на улицах — ни души, и только запах шашлыков подсказывал, что город обитаем. Есть не хотелось, зато ужасно хотелось пить и мы дружно нырнули в ближайшую лавку.

Грозного вида джигит двигал по полу ящик и что-то громко кричал в сторону подсобки. На подносе дымилась гора хачапури, полки скрипели под весом бутылок. Напустив на себя взрослый вид, Галка шагнула к прилавку и ткнула пальцем в самую пузатую из бутылок. Я протянула джигиту железный рубль и стала обладательницей двух ароматных хачапури. Мы рассовали покупки по сумкам и торопливо, но не в панике покинули зал.

— На кой тебе этот огнетушитель? —

накинулась я на Галку.

— Так ведь пить хочется, — резонно ответила она.

Я склонилась над этикеткой и торжественно объявила: красное сладкое местного розлива.

Опыта распития у нас, конечно, не было, и в целях конспирации мы вскарабкались на гору. Там, в зарослях орешника, мы откупорили бутылку и по очереди приложились к горлышку. Вино смахивало на горьковатый сироп, а хачапури — на ватрушки с сыром. Мы сделали еще по глотку и, не сговариваясь, закусили.

Попойка удалась: с каждым новым глотком мир становился все смешней, а хачапури все вкусней. И вот уже лес вокруг нас сделался рыжим, и от нашего смеха умолкли все птицы, а ежики впали в минутную спячку. Небо всей своей синевой опрокинулось в море, смешалось с ним и вспенилось у берега забавными курчавыми барашками.

Когда солнечный диск поцеловал горизонт, мы попытались подняться с земли. Пернатые громко ухнули, лес покачнулся и поплыл куда-то в сторону. Мы тяжело привалились друг к дружке, сцепились крепко за руки и начали свой самый экстремальный спуск без компаса и без страховки.

На серпантине нас обогнал грузовик. Увидев праздничный дуэт, водитель высунулся из окна:

— Куда вам, хорошие?

— Туда! — сказала я и ткнула пальцем в ноги.

— Туда и попадешь, если будешь идти по дороге, — рассмеялся шофер, — Садитесь, довезу!

Мы вскарабкались в кабину, водитель выкрутил звук, и горы огласила песнь Мираба Парцхаладзе.

Фразу «Нам в санаторий героев Челюскинцев» мы выговаривали по частям и строго по очереди. Водитель оказался лингвистически продвинутым, наш крепленный акцент распознал и доставил по месту прописки. Я первая выбралась из кабины, остановилась, поджидая Галку.

— Не-а, — замотала она головой, — Отдыхать так отдыхать! Я еду кататься!

— Никуда ты не едешь! Сначала нужно отдохнуть, а уж потом отдыхать.

Галка вытекла из машины, просочилась к овраге.

— Заеду в девять, — крикнул водила, — буду ждать у ворот.

В ответ Галка громко икнула и сделала водиле ручкой.

Я добралась до номера, рухнула в кровать и сразу же крепко заснула.

Был вечер, когда я открыла глаза. В окно светил фонарь, на улице шумела дискотека. Я залезла под душ и простояла там довольно долго,

потом оделась и спустилась вниз. В пятне прожектора под куполом магнолий мужчины в белых брюках и дамы в декольте вышагивали фокстрот. Вся моя команда была в уже сборе, не хватало только Галки. Ее мать в третий раз обходила санаторий, опрашивала сотрудников, заглядывала им в глаза, все тщетно — Галку не видел никто. Мы оставили Машку сторожить танцплощадку, а сами побежали по подсобкам. Через час к нам присоединились танцоры, а к полуночи весь персонал уже рыскал вдоль берега, шарил по кустам, делился информацией, вернее, ее отсутствием. Время шло, наши лица мрачнели, глаза Галкиной матери наполнялись ужасом. В час ночи к санаторию подъехала шестерка, и я узнала нашего знакомого водилу. Вид у него был страшно довольный: он что-то напевал себе под нос и жмурился как сытый кот. У самой ограды он высадил Галку, нажал на газ и укатил во тьму. Галка нервно пригладила юбку, воровато огляделась и кинулась к проходной. Увидев за воротами толпу, она попятилась назад.

— Где она? Что с ней? — послышалось из темноты, и толпа расступилась.

Мать вышла вперед, остановилась перед Галкой и долго вглядывалась ей в лицо.

— Какая же ты дрянь! — процедила она и залепила Галке пощечину. Ее звук прокатился по

кронам и, подхваченный сонной листвой, завис в ночной тиши. Галка схватилась за щеку, опустила голову и побежала сквозь ряды зевак. Какое-то время до нас долетал стук ее шлепанцев, но вскоре стих и он.

На следующий день каждый из нас услышал свою версию Галкиных походов. Как и следовало ожидать, ни одна из них не повторилась.

Галку тут же посадили на цепь, Машку — на короткий поводок, а мне заботливая мать купила билет на поезд.

Провожать меня вышли всем миром. Седой главврач печально улыбнулся и тихо произнес:

— Нам будет не хватать тебя, русалка!

Вернер крепко сжал мою руку:

— Я думал, все будет по-другому: они уедут, а мы с тобой останемся. Чертовски обидно! А самое паршивое — сидеть здесь и знать, что ты не на экскурсии и больше вернешься.

— Ладно, старик, созвонимся, — промямлила я, — Но только через месяц — до августа я на Украине.

После веселых южных приключений и беззаботной суеты жизнь в деревне показалась пресной, но совершенно несносной она стала с появлением отца. Отец примчался вслед за мной и

тут же завел свою излюбленную проповедь о пользе дела и грехе уныния. Мою задумчивость отец воспринял как хандру, как следствие праздности и разгильдяйства.

Отцовские нотации всегда начинались за столом, они напрочь отбивали аппетит и оставляли горечь в душе да набившее оскомину чувство, что всю меня с ног до головы необходимо переделать. Месяц у бабушки прошел под лозунгом: «Из сточной канавы — навстречу мечте!».

Дальнейший инструктаж я получала в славном городе Покрове, куда отца отправили в очередную ссылку.

На этот раз он решился представить меня своей гражданской жене. Деликатно и тонко организовал он знакомство, замыслив его как случайную встречу.

С Аллой Васильевной мы быстро нашли общий язык и темы для общения. Как ни странно, ни ревности, ни обиды за мать я не испытывала. Алла Васильевна была намного моложе отца, воспитывала дочь десяти лет и работала инженером на местном предприятии. Женщина, как женщина, спокойная, невзрачная, а может, просто терялась на презентабельном отцовском фоне. Мне она показалась рассудительной и заботливой, а то почтение, с которым она относилась к отцу,

выглядело искренним и ненавязчивым. В ее присутствии никакого напряжения не возникало. Возникло оно как раз в ее отсутствии. Наедине с отцом я просто изнывала. Посещение душа превратилось в мучение, потому что следом за мной туда немедленно входил отец. Он сразу же хватался за мочалку и начинал тереть мне спину, а после душа тащил на массаж, поскольку моя физическая форма его совершенно не устраивала. На массаж я шла как на расстрел, сжавшись в комок и зажмурив глаза. Я знала, чем кончится эта процедура, равно как все мои жалкие протесты, поэтому терялась, сникала и каждый раз впадала в ступор. Как в эти минуты я ненавидела отцовские руки! Как до тошноты, до хрипоты хотелось впиться в них ногтями, сломать их и сжечь, закрыться от них крепостною стеной, всеми щитами вселенной! Но руки эти были беспощадны, они прекрасно знали свое дело, уверенно и жадно они двигались по телу, вторгаясь в него и доводя до судороги, которая могла бы стать блаженством, но вызывала только боль и отвращение.

Едва дождавшись начала семестра, я перекрестилась и уехала в Москву.

Любаша, моя новая соседка, была особой колоритной и оригинальной. Парадокс — вот термин, определявший и мысли ее, и поступки.

Любаша частенько ссорила нас меж собой, а потом решала, с кем дружить, а кто остается в немилости. Вокруг нее постоянно кипели страсти, их водоворот затягивал всех, кто находился в зоне доступа. Любаша красилась как шут, одевалась как шаман и вела себя как параноик. Надо ли говорить, каким бешеным успехом она пользовалась у молодых людей. В ее фарватере всегда вилась стайка студентов, которых она милостиво подпускала к монаршей особе.

К концу семестра наша комната превратилась в мини-храм имени Любаши, подушки — в постамент для гуру, на котором она восседала во время пришествия и с которого регулярно несла в массы законы мироздания. В ее сеансах явно угадывались этнические циклы: так в начале семестра слушателями были выходцы из Украины, а ближе к новому году в группу обожателей вошли представители Кавказа. Смуглые мальчики робко внимали очередной Любашиной проповеди, потом темпераментно признавались ей в любви, за что бывали изгнаны из рядов почитателей. Их экзотические имена, инфантильная преданность и непосредственность веселили меня от души. На собраниях я выступала редко и в основном, не по делу, но удовольствие получала вполне реальное, когда в ответ на мою провокацию их гладкие лбы искажала гримаса, а щеки заливал румянец, чуждый

данному типу кожи. Вешать им прозвища было несложно, благо имелся колоссальный опыт упражнений с отцом. Смешней всего на русский лад склонялись самые чудные из имен, после чего новоиспеченные Васики и Масики, тихо гневаясь, призывали меня к порядку.

Был зимний вечер, я сидела в комнате и с усердием неопита постигала мудрость родной партии. Дверь со скрипом отворилась, и на пороге возник очередной заблудший Васик.

— Ты что, расписание перепутал? — оторвала я голову от учебника. — Сходки не будет — Любаша сдает философию.

— Я просто так зашел, посмотреть, чем ты тут занимаешься.

— А, посмотри, посмотри, может, запомнишь, как выглядит учебник.

— Я все предметы сдал на отлично, — ответил Васик с вызовом.

— Ну да? — поразилась я, — И зачетку покажешь?

— Ну, почему ты мне не веришь? — обиделся он.

— Да потому, что ты целыми днями торчишь в кабаках.

— А ты все учишься, — с уважением протянул Васик.

— А я все учусь, может, в отличие от тебя, диплом получу.

Васик сел рядом, небрежно закинул руку мне на плечо.

— Васик, ты — хам!

— Я не хам, я мужчина, — отрезал он.

— У мужчины в голове мысли имеются, а у тебя одни извилины!

— Опять обзываешься, — Васик нехотя снял руку, — Может у меня и не такие образованные мысли, как у тебя, зато сердце горячее.

— Это круто, Васик, честное слово! А теперь дай позаниматься, а то получу завтра банан и не видать стипендии.

— Брось, — вскинул голову Васик, — я поддержу тебя материально.

Я с укоризной покачала головой:

— Не смей этого делать, Васик, а то я заброшу учебу и погрязну в роскоши!

Васик немного поерзал и тихо изрек:

— А у меня завтра день рождения.

— От души, профессор, но мне и правда жутко некогда.

Разговоры с Васиком не входили в мои вечерние планы, время поджимало, а марксизм не поддавался.

— Ладно, я пойду, а ты приходи завтра вечером, посидим, поговорим.

Я рассеянно кивнула, и не подымая головы, вырулила на финальный пассаж о разложении затхлого империализма пред светлыми очами мирового пролетариата. Когда прочитанное сплелось, наконец, в зыбкий контур ускользающего смысла, Васику в комнате уже не было, звезды весело подмигивали мне в окошко, юный месяц гнал парус сквозь мутные тучи, а снег водил ладошкой по стеклу.

Два дня спустя я столкнулась с Васиком у лифта.

— А я прождал тебя весь вечер, — пробурчал он и оттопырил нижнюю губу.

— А зачем?

Обрывки недавнего разговора выползли из темных закоулков и тут же трусливо попрятались обратно. Васик тем временем перешел в наступление:

— Как это зачем? Мы же договорились отметить мой день рождения. Я, между прочим, готовился.

— Ты смеешься, Васик? Я вчера политэк сдавала, какой тут день рождения!

— Как сдала? — обида на лице Васику сменилась любопытством.

— Хорошо сдала, партия может мной гордиться. А теперь пусти, мне надо ужин готовить

— Любаша устраивает банкет.

— Я тоже приду, — Васик злобно посмотрел на свежий график дежурств, стрельнул сигарету у проходивших мимо первокурсниц и нажал кнопку лифта.

Васик оказался человеком слова — на ужин явился, проторчал дольше всех, а уходя, обязался бывать у нас запросто. С тех пор спасенья от него не стало, потому что слушался он только Любашу, а она как назло, досрочно сдала сессию и укатила домой. Оставалось два варианта: либо завалить сессию при посильном участии верного Васика, либо сбежать к тетке в Кунцево, что я и сделала, закинув за плечо учебники с чудными названиями.

Остаток сессии я прожила у тетки, а каникулы провела в заураженном городке, том самом, что не сумел в свое время мне вправить мозги, а заодно исцелить от любви к этой жизни.

Весна забила в окна дождем и звездопадом, трава покрыла зеленью согретые луга. Второй семестр катился в очередную сессию, а мы с Любашей в прекрасную авантюру под названием «молодость-молодость!». Мы жили весело и беззаботно, тратили всю наличность на вкусности и глупости, хором прогуливали семинары, ныряли в ночь на поиски невинных приключений, попадали в

неприятности, из которых визжащих и напуганных нас бережно выносила судьба на своих мудрых и заботливых ладонях. В общежитии мы держались особняком, в загулах и оргиях не участвовали, за что и были в скором времени забыты всеми Любашиными почитателями, всеми, кроме упертого Васика...

— Васик, — ты же умный человек, — увещевала его Любаша.

— Забыла сказать, красивый.

— Само собой, Васик, только ты не нашего круга. Пойми, нам с тобой неинтересно, ты старше нас, а не умнее. Общайся со своими!

— Мне интересно с Вероникой, — сопел Васик и косил на меня бесстыжим глазом.

— Тебе невозможно ничего втолковать, ты как бронепоезд, идешь напролом. Это не метод общения с такой тонкой материей, как мы.

— Я вас чем-то обидел?

— Да не обидел, а достал. Ты же вполне симпатичный молодой человек...

— Вот, так я и знал, с вами нельзя договориться. Все время обзываетесь, болтаете всякие глупости. Нет, чтобы посидеть, поговорить по-человечески, — обижался Васик.

— А мы тут по-твоему чем занимаемся? — вступала я, но мудрая Любаша задвигала меня

обратно.

— Тебе придется изрядно подрасти, чтобы общаться с нами, а для этого необходимо посещать читальный зал...

Так слово за слово она терпеливо вытесняла философа-Васика из нашей жизни.

На наше счастье Васик пользовался большим успехом у нежных созданий, и это давало нам временную передышку. Но каждый раз из всех своих амурных походов Васик неизменно возвращался к нашему алтарю, чтобы склонить пред ним свою безмятежную голову.

Зацвели яблони, по Москве разлилось благоухание ранета, оно затопило аллеи, склонило лебединые шеи над перламутром лунной колыбели.

Зашептались бульвары, затрепетала гладь реки, и задохнулся соловей, и потянулся от самых трав наверх тягучий медвяный шлейф, рождая вздох щемящего томленья.

Мы бились за стипендию под ритмы тотального диско, а головы кружил лирический дурман. И словно кара за беспечность накрыла нас беда — затянула в омут серых глаз, столкнула лбами и отбросила на край обрыва, туда, где сражаются дружба и страсть.

Он был сказочно хорош своей сдержанной

мужской красотой, насмешливым равнодушием, которое будоражило, изводило, мешало признаться друг другу и себе самим, что мы по уши увязли и нет сил ни приблизиться, ни отступить. Он был единственным, кому я не навесила ярлык, и оставался просто Владом, гордым, недоступным и от этого еще более желанным.

Я тихо поскуливала, сознавая, что на Любашином фоне все мои шансы стремятся к нулю и, затаив дыхание, ждала, когда Любаша вступит в бой. Она не торопилась, держала паузу, а потом вдруг взяла и назначила Васику аудиенцию.

— Приходи не один, а с соседом по комнате, — велела она, — Мне хочется его поближе разглядеть.

В тот вечер она чудовищно накрутила лицо, обмотала голову синей шалью и надела длинное черное платье. С папироской в невыносимом мундштуке, Любаша выплыла навстречу гостям.

— Какой дивный вечер! — прокаркала она не своим голосом, — Я в полном и безудержном восторге! Присаживайтесь у камина или желаете пройтись по саду?

Васик тихо опустился на пол, Влад промолчал и хитро улыбнулся.

Любаша закатила глаза, посетовала на непогоду и незатейливый пейзаж в дождливом оформлении. Влад сощурился и снова усмехнулся:

— Почему ты так ужасно красишься?

— Вы ничего не понимаете, молодой человек, сегодня я вовсе не красилась.

— А что у тебя на лице?

— Моя скорбь по ушедшей весне.

— Куришь по этому же поводу?

— Я не курю, я источаю дым воспоминаний.

— А... ну, источай...

Влад медленно обошел нашу комнату, изучил эскизы в стиле «сюр», книжные полки, набор безделушек, потом обернулся к Любаше.

— Ты мне нравишься, — небрежно бросил он, — Мы могли бы встречаться.

Любаша повернулась в профиль, отставила мундштук и произнесла в пространство:

— Мы не можем встречаться, потому что ты мне не нравишься, и это неизбежный факт.

И в этот миг мне стало ясно, что сражение проиграно без единого выстрела. Все произошло молниеносно — одним движением руки Любаша сломала мне хребет и сокрушила оборону Влада.

— Самовлюбленный павиан, — вяло заметила она, когда мы остались одни.

— Ты о ком? — отозвалась я упавшим голосом.

Любаша вынула изо рта мундштук, сменила папироску.

— О том, что пониже.

— Мне показалось, что в угаре красноречия ты его не разглядела.

— Я зрю в корень.

— Умой глаза и узришь душу, — процедила я сквозь зубы.

На следующий день я собрала свои вещи и уехала к тетке. Любаша проводила меня равнодушным взглядом и ни о чем не спросила.

В пещере Бармаглота притихло даже эхо...

Одолев последний бархан тополиного пуха, чихая и кашляя, я завалилась в холл. В общежитии было пустынно — сессия закончилась, народ разъехался по домам, и только наш курс терпеливо домучивал ГОСы. Васик как всегда болтался у лифта. Увидев меня, нахмурил лоб, достал из пачки сигарету:

— Куда пропала?

— Никуда я не пропала. Живу пока у тетки.

— А к нам теперь в гости?

— Да нет, за учебником.

— А у нас завал, — пожаловался Васик, — Поможешь с переводом?

— Послушай, уже поздно, а мне еще тащиться в Кунцево.

— Ну, пожалуйста. Все наши разбежались, и

некого попросить. Влад весь день сидит над словарем, а тебе эта статья на пять минут работы...

Услышав заветное имя, я обреченно вздохнула и поплелась за Васиком.

В комнате было темно, ни одного учебника на обозримом пространстве. На столе бутылка чего-то горячительного да гора красных яблок.

— Что это, Васик? Где Влад, где статья? — я завертела головой в поисках призрачного Влада.

— Я же сказал, все разъехались, мы с тобой совершенно одни. Так романтично!

Васик щелкнул ключом, сунул его в карман штанов.

— Романтично? Ты что с Любашей пообщался или просто напился?

— Ну, зачем ты так! Я всю неделю тебя караулил. Я так устал за тобой гоняться! Ты меня совсем измучила! — и Васик с силой притянул меня к себе.

— Эй, дружок, мы так не договаривались! Так же нельзя! — я толкнула докучливого Васика в грудь, но он только усилил хватку:

— Мне можно — я потерял голову.

— Васик, у тебя никогда ее не было, так что расслабься! — я дернулась еще раз, но с тем же успехом.

— Это ты расслабься, потому что я тебя не

отпущу.

— Я буду кричать!

— Давай, кричи! Я же сказал, все разъехались.

Васик был здоров как бык и невероятно силен. Его руки, словно две клешни, сцепились за моей спиной. Он сделал резкий разворот и повалил меня на кровать.

Потолок дрогнул и опрокинулся, а сверху нависло плоское исполинское облако. И облако это голосом Васику тяжело продышало мне в лицо:

— Кричи на здоровье — ты же сама пришла.

Он придавил меня всем телом, рывком задрал подол, жадным судорожным движением, похожим больше на укусы, впился мне в губы и, словно удав, оплетающий жертву, начал с силой сжимать свои кольца. Два шомпола уперлись мне в колени, а липкая клешня сдавила горло. В глазах потемнело, воздух сделался плотным, стало нечем дышать. Я захрипела и вцепилась ногтями в ненавистное лицо. Удав ослабил верхнее кольцо, а нижними опутал мои бедра, стянул их жгутом, приподнял и встряхнул, а секунду спустя что-то дикое и твердое прошило мне нутро, кинжалом вспорол живот. Словно со стороны я услышала собственный крик, почувствовала, как тело мое погружается в горячее вязкое пекло. Удав накинул мертвую петлю, и я завывала от кромешной боли.

— Все, милая, больше больно не будет, —

выдохнул он, дернулся пару раз и застонал.

Кольца ослабли одно за другим, съехали на сторону, шмякнулись об пол и затихли там, подрагивая и лоснясь.

Словно в бреду я сползла с кровати, нащупала ремень от сумки.

— Теперь ключ!

Я протянула руку в темноту, и удав послушно вложил в нее теплый от крови предмет...

Когда я вошла в комнату, Любаша сидела на подушках и что-то усердно писала в тетрадь. Услышав стук, она вскинула голову и тут же выронила карандаш. Что-то в моем лице до жути напугало циничную Любашу. Она оглядела меня с ног до головы: одежду, порванную в клочья, потеки на ногах и бурый след босых ступней...

— Хмельницкая... с тебя пузырь, — прошептала она. — Кто побежит?

Я выронила сумку, тихо опустилась на пол. Любаша спрыгнула с кровати, прижалась ко мне и пальцем начала водить по синим пятнам у меня на шее... потом вдруг громко разрыдалась...

И слезы эти смыли всю грязь, что я принесла на себе.

Не будите чеширского пса

Отец бесшумно вошел в комнату, прикрыл за собой дверь:

— Мать говорит, ты не хочешь возвращаться в общежитие. Что произошло? У тебя неприятности?

— А она не сказала, какого рода?

— Она рассказывает дикие вещи, — нахмурился отец, — Но я хочу услышать от тебя.

— Мне трудно об этом говорить, — ответила я мрачно.

— Тогда напиши. Ты изрядно пишешь. Выскажись на листе, я прочту, потом обсудим.

— Хорошо, я напишу...

Час спустя отец отложил в сторону листок и, не поднимая глаз, произнес:

— Зачем ты это сделала?

— Сделала что?

Он протянул мне текст.

— Но я не понимаю...

— Зачем ты это сделала? — повторил отец.

— Зачем я написала? Но ты же сам просил!

Отец покачал головой и вышел из комнаты.

На утро у него открылась язва. Он лежал в постели, белый как мел. Алла Васильевна металась по квартире, не зная, что делать с путевкой и билетом на поезд. Я наблюдала за ее перемещением и с грустью думала о том, что отцу сказочно везет

на санаторных женщин.

— Поезжайте, Алла Васильевна, я справлюсь, — произнесла я уверенным тоном, — скорая будет с минуты на минуту, а вы рискуете опоздать на поезд.

— А как же экзамены? У тебя же ГОСы по медицине! — простонала она и бросила тоскливый взгляд на гору учебников, — Каждый день до Москвы и обратно...

— Ага, — равнодушно ответила я, — и обратно...

— Держись! — вздохнула Алла Васильевна.

Она чмокнула отца в щеку, подхватила чемодан и через мгновение скрылась за дверью.

Помотаться действительно пришлось: и на консультации, и на экзамены, и по проклятым магазинам в поисках диетпитания. Дорога — готовка — больница превратили мою жизнь в сплошной аттракцион.

— Ты у нас просто герой! — хвалили знакомые и однокурсники, — В таком режиме и без троек!

— И без пятерок тоже, — отшучивалась я, и летела в город Покров, чтобы драить полы и готовить отцу очередную запеканку.

Через неделю объявилась мать. Короткий тайм-аут между курортами она решила

использовать по назначению: развеяться и обновить гардероб.

Загорелая и посвежевшая, она выпорхнула из вагона.

— Верка, на тебя страшно смотреть! — заявила она.

— Ничего не успеваю — все время в дороге.

— Ну, хочешь, я поеду в твой Покров, помогу тебе с готовкой? Тебе нужно отоспаться, иначе сбрендишь окончательно.

Я кисло поморщилась и покачала головой:

— Не слишком этично приводить тебя в отцовский дом. Ему это не понравится. Если помнишь, вы плохо расстались...

— Он сам виноват: морочил мне голову, — обиделась мать.

— Какую голову? Он свободный мужик — десять лет как в разводе.

— А зачем он мне врал, что ни с кем не живет?

— А зачем ты тянула с него алименты? Скажи, отцовская двадцатка действительно так грела душу? Или «четыреста в месяц» для тебя уже не деньги?

— Опять он вправил тебе мозги! — ошетинилась мать, — Всю жизнь настраивает против матери!

«Да ты и сама неплохо справляешься», —

вертелось у меня на языке, но на разборки не хватало сил.

— Меня уже трудно настроить или расстроить — я смертельно устала и хочу спать.

— Все! Еду с тобой, — отрезала мать, — иначе ты потеряешь сознание, и у тебя украдут колбасу.

— И это станет худшим из несчастий!

Всю дорогу мать хныкала, скулила, изводила меня упреками, жаловалась на жизнь, на отца, на ушедшую молодость...

Я слушала ее нытье, смотрела на столбы, мелькавшие за окнами, и с тоской сознавала, что вместо помощника везу в Покров надсмотрщика и инквизитора в одном лице.

Мои прогнозы оправдались очень скоро: мать окончательно испортила мне жизнь. С утра и до вечера ее гаденький голосок комментировал все мои действия, обвинял в предательстве и двуличии, упрекал в том, что я обстирываю мачеху, кормлю непутевого папашу и своим поведением позорю весь человеческий род. В конце концов ей наскучило сидеть у телевизора и наблюдать за тем, как я мечусь меж кухней и больницей, она собрала чемодан и вышла на порог:

— Сил моих больше нет! Я еду в Москву!

— Хорошо, уезжай.

— И ты меня гонишь! — запричитала мать, —

Никому я не нужна! Черт с вами, живите тут своей дружной семейкой! Я растила тебя, я ночей не спала и вот что за это получила!

Я вскинула голову, с любопытством уставилась на мать:

— И что же ты за это получила?

— Ты меня предала! Какая же ты после этого дочь! Я тебя кормлю...

— Кормишь? — я не поверила своим ушам, — До сих пор мне казалось, что я живу на стипендию.

— А двадцать рублей каждый месяц?

— Прости, что так сильно тебя объедаю!

— Чужие деньги считать умеют все, — мать, очевидно, вспомнила размер своего оклада, — Ты вот стипендию на отца тратишь, а меня из дома гонишь.

— Он тяжело болен, а значит, нуждается в помощи. Я не дам помереть ему с голоду. Я просто не могу так поступить!

— А трепать мои нервы ты можешь?

— Послушай, — зашипела я, — поезжай-ка ты лучше в Москву!

— Ладно, останусь! Помогу тебе выхаживать твоего драгоценного папочку!

Я по инерции дошла до кухни и только тут все поняла.

— Пожалуйста, не надо помогать! — взмолилась я, но мать уже уселась на диван и

включила телевизор.

— Что-то мне не здоровится, — пожаловалась она, — В таком состоянии ехать опасно, — и менторским тоном добавила, — Если помру, в этом захолустье меня не хорони!

Минут через двадцать она заглянула на кухню:

— Варениками пахнет! Позовешь, когда будет готово, а я пока в душ.

Вареники, запеченные в сметане, были бабушкиным фирменным блюдом. Я наблюдала за ее стряпней, задавала вопросы и понемногу запоминала рецепт. Отец мою готовку оценил, и теперь я с гордостью таскала ему кастрюльки с украинской кухней.

Из комнаты донеслись сигналы точного времени, и диктор объявил начало новостей. Я присела на корточки, открыла духовку. Меня обдало жаром, и по кухне разлился творожный дух. В этот момент в прихожей что-то стукнуло. Я поднялась, прислушалась: все тихо, и только голос диктора бубнит про планы новой пятилетки.

— А вдруг это входная дверь? Надо срочно проверить!

Я выскочила в коридор и чуть не споткнулась о мать. От неожиданности я громко вскрикнула и вжалась в стену. Меня трясло, но не от страха —

три курса медицины, морги и практика в стационаре, вид крови, обмороки и мертвецы — все это больше не пугало. Нет, было в этой голой женщине, лежавшей на полу, что-то поистине жуткое и непотребное.

Услышав крик, мать приоткрыла глаз:

— Что, сердце прихватило? Смотри, не падай! — запрочитала она, поднимаясь, — Наверное, что-то с погодой. Мне тоже стало нехорошо. Вышла из душа и отключилась... Да что с тобой? Ну, не молчи! Врача тебе вызвать?

— Ты и врача пойдешь встречать голая? — произнесла я хриплым голосом.

Мать потупила глазки:

— Здоровье у меня совсем ни к черту! Нужно срочно лечиться! — и, изящно присев, подцепила рукой полотенце.

— Давай, лечись, — произнесла я мрачно, — а мне пора в больницу.

— Ну, ты иди, а я прилягу, — проворковала мать, стыдливо прикрывая телеса.

— Что на сей раз выкинула твоя мамаша? — спросил отец, едва заглянув мне в глаза, — Сразу видно, что-то незаурядное!

Я рассказала ему о мамашином обмороке, о бесконечном нытье и упреках. Дослушав мой рассказ, отец достал листок бумаги и написал

расписку на имя главврача.

— Вставай, Тигра, — произнес он весело, — пойдем выгонять лису из домика.

Чем кончился разговор отца с матерью, я так и не узнала, потому что уснула, едва коснувшись подушки.

На утро мать уехала в Москву, и я уже позволила себе вздох облегчения, но тут, как назло, позвонила московская тетка и пригласила нас на юбилей. Отец долго отнекивался, но в конце концов сдался под натиском железных аргументов:

— Ты, Антон, волен поступать, как хочешь. Я к тебе в родню не набиваюсь, но если не придешь — обижусь на всю жизнь! — пригрозила она и повесила трубку.

Теткин звонок показался мне странным, ведь материнская родня отца никогда не жаловала. «Бросил жену с ребенком» — вот фраза, что из года в год подогревала ненависть к отцу. Оставалось гадать, как при таких высоких моральных устоях старшие отпрыски этого семейства оставили собственных родителей умирать в нищете. Совесть этих борцов за нравственность дремала безмятежно, пока шестнадцатилетний пацан выхаживал смертельно больную мать, хоронил отца, тащил на себе младшую сестру и все подсобное хозяйство, дававшее призрачный шанс прокормиться. Успешный московский юрист, директор школы,

мастер на одном из крупнейших заводов — никто не нашел ни времени, ни средств, чтобы забрать к себе стариков — их просто оставили угасать на руках у беспомощных подростков. Бабушка умерла первой, а дед ушел следом: остановился посреди двора, схватился за грудь и упал замертво на угольную кучу, ту самую, что служила мне первой игровой площадкой.

Непутевого отца моего перевоспитать не удавалось — он не желал ни каяться, ни слушать. Его независимый нрав, острый ум и не менее острый язык служили поводом для сплетен и нападок.

Юбиллярша являлась супругой старшего Карамзина, а заодно локомотивом, тащившим на себе и мужа, и детей. Раз в год она собирала родню на грандиозное застолье. Попасть в число приглашенных считалось большой удачей, поскольку не было во всей Москве особы более пронырливой и хваткой, имевшей такое количество связей в среде торгашей. Разносолы на ее столе приводили в трепет и гурмана, и скромного любителя поесть вкусно, сытно и дефицитно.

Нежнейшие куски мяса, которое и жарить-то не нужно в виду его редчайшей свежести, овощи не по сезону, забытые сорта колбас и деликатные нарезки служили залогом сытости и благополучия. Салаты, холодцы, жульены — все умещалось на

этом хлебосольном столе. Сыры всех мастей, бутерброды с икрой и домашние соленья приводили в гастрономический трепет. Гордость стола и его венец — трехлитровая бутылка самогона на апельсиновых корках выносилась отдельно под общий гул и ропот одобрения.

Застолье завершал скабресный сон советских сладкоежек — торт «Птичье молоко», исполненный на заказ, и оттого казавшийся пределом дефицита.

Все утро отец оформлял больничный лист, так что в Москву мы попали ближе к вечеру, когда разогретое самогомом, источавшее апельсиновый перегар собрание, уже двигалось к десерту.

— Ну, Антон, — вместо приветствия начал старший Карамзин, — расскажи нам о своей новой семье, о том, как бросил Нинку, как Верку настраиваешь против матери. У тебя совесть есть или нет?

— Добрый вечер! — отозвался отец, — С днем рождения, Люся!

— Штрафную! — зашумели братья, — Наливай ему по полной!

— Выпью, сколько сочту нужным, — спокойно ответил отец.

— Не хочешь пить, отвечай на вопросы!

— Отвечу на вопросы Нины — матери моего ребенка, остальных моя личная жизнь не касается.

— Так мы для тебя остальные! — загудел тамада.

— Вы — да, она — нет, — кивнул отец в сторону матери.

— Чего ж ты в дом явился к чужим людям? — завопил средний, юридически подкованный брат.

— Меня хозяйка пригласила.

— Выходит, ты нам одолжение сделал?

— А ну хватит! — грозно рывкнула юбилярша, — Пока что я здесь хозяйка и сама буду решать, кого приглашать, кого — нет!

Юрист хрюкнул и затих, мать громко всхлипнула, тамада насупился, и не дожидаясь тоста, опрокинул стакан.

— Спасибо, Люся, — улыбнулся отец, — но я действительно зашел на минутку — поздравить тебя и доставить дочь на ваш семейный праздник.

— Я тоже зашла на минутку! — подхватила я.

Перспектива попойки с базарной родней испугала меня не на шутку.

— Ты что, уходишь? — ахнула мать, — А как же я?

— Ну зачем я тебе? У тебя здесь столько защитников, они и утешат.

— Ну, ты даешь, кума, — старшой с трудом поднялся с места, — бросить мать в таком состоянии!

— Да в каком она состоянии? Сидит себе,

смотрит, как отца тут пинают. У нее-то все в порядке. Это отец сбежал из больницы, это у него открытая язва. Так что ему я нужнее.

Отец покачал головой:

— Меня защищать не нужно. В душе ты со мной, и за это спасибо. И ходить за мной тоже не надо. Хочешь совершить поступок — останься за столом и поздравь тетку. Завтра созвонимся, захочешь — встретимся.

После этих слов он попрощался и вышел за дверь.

Стоит ли описывать, какой задушевный прием устроила мне родня? Так бурно я еще не веселилась. До поздней ночи гости учили меня жизни, читали проповеди, клеймили за черствость и отсутствие совести, шумели и чокались, рыдали друг у дружки на груди, вздыхали, охали... короче, гуляли согласно традициям! Спать завалились тут же на боевых позициях.

С утра пораньше мать возобновила штурм, ее поддержали нетрезвые братья. Полотна Гойи ожили, их персонажи вылезли из рамок, обступили меня со всех сторон и осудили, капая слюной. Через час такого общения у меня разболелась голова, а еще через час кончики пальцев онемели и стали покалывать. К горлу подкатил сухой ком, и этот ком никак не давал себя сглотнуть, потому что гортань одеревенела и потеряла чувствительность.

— Воды!

Я встала... стены закачались, а сердце ухнуло и провалилось. Картинка подернулась, потемнела, а лица расплылись и сгнули прочь. Остаток дня смешался в причудливый калейдоскоп событий: обрывки фраз ... белый халат... боль от укола ... отцовское лицо, его перекошенный от гнева рот:

— Я вам, как людям, оставил ребенка, а вы что натворили!

... снова серый туман...

Два дня я спала. Никто меня не трогал, не тревожил, никто не лез мне в душу, не зудел, и в этом состоянии покоя организм исцелил себя сам.

— Куда это ты собралась? — мать встала в дверях, преграждая мне путь, — Ты слышала врача? Тебе нужно лежать!

Я заглянула матери в глаза, увидела там бездну и хлипкий уступ, за который цеплялась все эти годы... Не слушая ничьих стенаний, я подхватила сумку и выскочила из квартиры.

Оказавшись на воле, я, наконец, вдохнула полной грудью и тут же поклялась себе держаться от родни на расстоянии, подальше прятать душу от садистов.

Я улыбнулась своим мыслям, расправила плечи и ощутила, как ей, душе, стало чуточку легче.

Море слез

По осени наш курс погнали на картошку, пообещав, что в Англию поедут только те, кто ударно трудился на полях Подмосковья.

За границу хотелось всем, даже троечникам, поэтому собирать урожай отправился весь курс. В середине октября зачумленные и завшивленные мы вернулись в Москву. Одна половина курса сгибалась от гастрита, другая маялась от несварения, а в Англию поехала профессорская дочь, сын КГБ-шника и отпрыски членов всех величин, уверенные в том, что картошка растет круглый год на прилавках.

Отец огорчился, узнав, что с колыбелью футбола меня прокатили. Он надеялся на эту поездку, как на возможность побега из пролетарского рая. В Лондоне его ждало жилье и работа: уже второй сезон ему предлагали курс лекций в местном университете. Отец с выездом не торопился, документы не подавал — опасался, что меня, дочь предателя и антикоммуниста, тут же погонят из комсомола и неминуемо отчислят.

Как-то раз я спросила отца:

— Скажи, а ты мог увезти меня раньше, когда я еще училась в школе?

— На это требовалось согласие матери, а она его ни разу не дала. Все эти годы я ждал твоего

совершеннолетия, того самого дня, когда твоя мать потеряет контроль.

— Все это выглядит странно: я для матери всегда была обузой. Ты, случайно, не спрашивал, почему она меня не отпускала, почему не давала согласия на выезд?

Отец лишь горько усмехнулся:

— Она уже дала согласие... на твое лечение в психушке. Так что не стоило рисковать. Я ждал, когда ты вырвешься на стажировку и получишь политическое убежище. Именно тогда я и собирался подать на выезд, и если потребуется, подключить общественность, вражьи голоса и всех великих отщепенцев.

Рано или поздно отца бы выпустили — страна в тайне мечтала избавиться от своего заблудшего сына. Вот тут-то он и намеревался покончить со строительством коммунизма. Удивляло одно: имея такой колоссальный опыт общения с органами, отец всякий раз умудрялся недооценивать их виртуозность. Похоже, о планах отца стражи нашей безопасности узнавали на стадии их разработки. Мои бумаги на выезд не проходили и первой инстанции, так что стажировалась я исключительно в читальном зале, а жажду путешествий удовлетворяла на метро. Училась я в ту пору на редкость стабильно.

Было пасмурно и зябко, в лужах мокли низкие тучи, бездомный ветер норовил забраться под одежду, словно дворняга под навес.

Небо чертили вороны, издавая тот особенный гнетущий крик, от которого становится неуютно и тоскливо.

Гулко шумел растревоженный лес.

Я зашла в телефонную будку, сняла трубку, протерла запотевшее стекло, чтобы видеть перрон.

— Алло, Алла Васильевна? Я на вокзале. Весь день просидела в читалке и опоздала на электричку.

— Не могу говорить — за Антоном приехала скорая. Опять открылась язва! — надтреснутый голос Аллы Васильевны, казалось, доносится из-под воды, — Я ждала тебя днем, думала, сегодня приедешь пораньше...

— Увидимся в больнице!

Я повесила трубку и побежала к платформе, на ходу застегивая мокрое пальто.

* * *

Алла Васильевна поднялась со стула и вместо приветствия зашептала мне в самое ухо:

— Зря он подал документы на выезд! Теперь ему не выкарабкаться!

Я отшатнулась:

— Что вы такое говорите? Почему это не выкарабкаться?

Алла Васильевна тяжело вздохнула и снова подалась вперед:

— Его не должны были оперировать.

— Он что, на операции?

— На высоте кровотечения.

— Все так серьезно?

— Серьезнее некуда. А еще он сказал, что его непременно зарежут.

— Да что тут вообще происходит?

— Вчера вечером он вернулся из бани...

— Это что, неудачная шутка? Да как же вы его пустили! Я из-за этой бани всю прошлую сессию провела в электричке!

— Ты не злись, — в голосе Аллы Васильевны зазвучали миролюбивые нотки, — Отец твой разрешения не спрашивал! Пришел поздно, сказал, что был в парной, и что на этот раз, похоже, обошлось.

— Выходит, не обошлось! — протянула я мрачно, потом посмотрела на Аллу Васильевну, — Идите отдыхать, лица на вас нет.

— И правда, умаялась. Пойду домой, немного отдохну, дождусь Наташку из продленки.

Алла Васильевна похлопала меня по руке и тяжело зашагала на выход, всем видом демонстрируя усталость и обреченность.

Через час отца выкатили в коридор. Он плохо выглядел: был сер и отрешен. Какое-то время он лежал без движений, потом пришел в себя, зашевелился, застонал.

— Что? Что сделать? Позвать врача? — спросила я тревожно.

Отец поморщился, заметался в поисках удобного положения, шумно выдохнул, закрыл глаза:

— В жизни всякое бывает. На твоём месте я бы задумался, — он помолчал, собираясь с силами, и едва слышно прошептал, — Здесь странное освещение, уже ночь? Удивительное дело — оказывается, во тьме дышится легче... С приходом темноты боль отступает...

На минуту мне показалось, что он бредит, но вслушавшись, я уловила некий смысл.

— Интересно устроен человек, — продолжал меж тем отец, — загоняет себя в угол и начинает искать смысл такого положения, придумывать назначение «Его Величества Угла», его историческую роль. Что можно разглядеть лицом к стене? Что можно обрести в углу? Чему там можно научиться? А в темноте все выглядит иначе... Она нам на то и дана, чтобы посмотреть на мир оттуда, из мрака, из ничего, когда ум твой чист и сам ты чист перед болью, перед страхом, перед

собственной тенью, которой почти не отбрасываешь...

— Очень хорошо, — бодро пропел хирург за моей спиной, — философствуем, значит идем на поправку. У вас крепкое сердце, идеальная физическая форма, все органы работают отлично. Вот запустим желудок и сыграем нашу лучшую шахматную партию! — он пощупал отцу пульс, обернулся ко мне, — Ника! Рад тебя видеть! Подежуришь эту ночь? У нас с персоналом беда, а твоему отцу нужна сиделка. Сестра на посту, я — в дежурке, если что — зови. Будет мучить жажда, смочи ему губы, но пить не давай! — он погрозил мне длинным узловатым пальцем. — Захочешь прилечь — занимай свободную каталку. Геройствовать не советую — силы быстро кончаются, а у нашего пациента впереди долгий путь.

Всю ночь отец промаялся на грани забвения и ноющей реальности. Он бормотал бессвязные фразы, подолгу лежал с открытыми глазами и, вконец измаявшись, провалился в липкий безотрадный сон с внезапными стонами «Больно!».

Утром бригада сменилась. Отца увезли в смотровую, а следом туда вошел незнакомый хирург.

Я дождалась окончания осмотра:

— Скажите, доктор, у нас есть положительная динамика?

— Вы медик? — спросил он с надеждой.

— Нет, я — лингвист.

— Жаль, лишние руки нам не помешают.

— Нет проблем, — обрадовалась я, — с июня у меня медицинский диплом: анатомия, инфекции, травмы... а еще нас учили колоть и накладывать шины...

— Ну, это не понадобится, — рассмеялся хирург, — а вот сиделка из вас хоть куда! — и он принялся диктовать мне уже известный свод правил: — Воды не давать, не кормить, внимательно следить за состоянием больного.

— Да, сегодня вас переведут в отдельную палату, — сообщил он, глядя на часы.

— Я думала, мы в коридоре, потому что нет мест...

— Дело не в отсутствии мест, — пояснил он на ходу, — просто больной после операции должен быть на глазах.

Он посмотрел на меня по-отцовски:

— Сейчас принесут кашу, поешьте.

И начался неспешный больничный день: сестры курсировали по палатам, готовили больных к операции, наблюдали тех, кто вышел из наркоза, кололи, промывали, меняли повязки, снимали швы. Врачи ставили диагноз, резали, отпускали на волю,

снова резали, снимали анамнез, совершали обход и назначали процедуры, препараты и диеты.

С утра пораньше отцу поставили капельницу и обработали дренаж. Мне поручили следить за состоянием дренажа, выносить судно и считать суточное количество выделений. Само собой, приходилось мыть полы и вытирать пыль, поскольку бабка со шваброй церемониться не стала. Плюхнув на пол ведро с водой и по-хозяйски оглядев палату, она весома изрекла:

— Молодая, сама помоешь!

Вернулась минуту спустя:

— Тряпки полощи, грязные не бросай!

А еще через десять минут я услышала ее скрипучий голос:

— Шагай в моечную, покажу, где че лежит!

Ближе к обеду явилась Алла Васильевна с припухшим лицом и помятой щекой:

— Как вы тут?

— Пока без изменений.

— Иди, поспи, я подежурю.

— Я не могу оставить пост. У меня теперь куча обязанностей, — отрапортовала я.

— Тогда просто сходи, погуляй.

— Хорошая идея. Пойду в магазин, куплю себе что-нибудь на ноги.

С этими словами я скинула на пол отцовские

тапочки, висевшие на мне, как две гигантские калоши.

Удивительно, как меняется жизнь за стенами больницы, как распадается надвое мир. Снаружи мечутся люди, у которых куча неразрешимых проблем, пригоршня важных дел и полный карман неприятностей. Здесь всегда суета и неразбериха, здесь одни завидуют другим и проклинаяют третьих. На этой территории постоянно идут или готовятся боевые действия, имеющие целью нанести ущерб разной степени тяжести. Любовь здесь болезненна и мучительна, праздники беспечны, а следующие за ними будни исполнены стыда и раскаянья. Этот лагерь порывист и щедр, он эмоционально нестабилен и духовно небогат.

Внутренний лагерь, на первый взгляд пуст, но эта пустота обманчива. Если на улице нет прохожих, это не значит, что город не населен. Движение здесь в привычном смысле отсутствует, хотя регулировщики постоянно находятся на своих местах. У обитателей этого лагеря в глазах тревога, в словах сочувствие и подтекст. Звуки здесь приглушены, жесты скупы и бережливы. Создается впечатление, что мир погрузился на дно океана, и мглу разбавляют лишь редкие маячки на столиках ночных сестер. Эмоции здесь крайне редки и выплескиваются за предел лишь в минуты

опасности. В этом мире событий немного. И все же, дело не в количестве событий и даже не в их глубине. Дело в том, что проблема здесь всего одна, одна на всех, но ею нельзя поделиться, ее нельзя переложить на чужие плечи или подсунуть под дверь, словно конверт, ее не решить сообща — здесь каждый за себя и каждый сам по себе.

Конечно, здесь тебе пытаются помочь, могут даже посочувствовать, но справиться ты должен будешь сам. Отсюда не сбежишь в верхний мир, не закроешь глаза, не заткнешь себе уши, и только повернувшись лицом к своей беде, ты получаешь новый шанс. Здесь твоя жизнь напрямую связана с силой духа и желанием вернуться в лагерь номер один, который хоть и кажется отсюда бестолковым и наивным, но так и остается безальтернативным.

Странное тихое место, но именно здесь происходят сильнейшие выбросы, недоступные для жителей внешнего мира. Их авторы — и местные, и гости, попавшие в эпицентр бурной радости или великого горя. Эти прорывы выносят тебя на поверхность и делают вершителем судьбы, а сила духа, вырвавшись на волю, сметает все преграды на пути. Что в сравнении с этим эмоции внешнего мира — лишь мелкая рябь, борьба с собственной жизнью, жалкая возня на фоне грандиозной битвы, которую ежесекундно ведут обитатели больничного полумрака.

Я шла по улице и не могла надышаться осенней влагой, разлившейся по миру, сочившейся на глянцево́й асфальт.

— Боже, сколько воды! — прошептала я и неожиданно представила отца, его бескровное лицо, сухие потрескавшиеся губы.

Я поймала ртом несколько капель и позволила им стечь по языку. В этот миг я поняла, что мир щедр...

Придя домой, я бросила покупки на диван, скинула одежду, пропахшую больницей, залезла под душ и долго стояла, наслаждаясь мелкими житейскими радостями, ставшими в одночасье предметом роскоши.

Когда, через пару часов, я вернулась на пост, отец уже выглядел лучше: он полулежал на подушках и даже пытался шутить.

— Да, наломал я дров, наломал, — усмехнулся он, глядя, как с помощью швабры я развожу сюрреализм, — Не станет меня, и ты поплывешь по течению. Поплывешь, куда денешься. Так что мне на тот свет никак нельзя. Буду пилить тебя на этом. Ничего, прорвемся. Будем бороться, Тигра! Будем или нет?

— Обязательно будем, и все у нас получится, ты только воду не глотай.

— Ишь, какая хитрая, сама, небось, уже и чаю попила, а родному отцу стакана воды жалеешь! — и он принялся шутливо отчитывать меня за несуществующий грех.

Весь день отца мучила жажда, но стоило хоть капле попасть в пищевод, его тут же выворачивало наизнанку. В такие минуты сбегался весь персонал и на чем свет крыл меня за профнепригодность.

К вечеру мои глаза запорошило, спина заныла и одеревенела.

— Ложись, поспи, — велел отец, — со мной все будет в порядке, мне ввели снотворное, так что засну еще раньше тебя... Скоро увидишь, — добавил он не к месту, — медведь падет и своей тушей раздавит всех, кто не успел отскочить.

— Какой медведь, пап? Ты задремал?

— Медведь — это СССР, наша великая колониальная держава.

Отец закрыл глаза, шумно выдохнул. Я взобралась на кушетку, накрылась одеялом, обняла подушку и секунду спустя отключилась.

Из омота сна меня вытащил странный навязчивый звук. Я с трудом разлепила глаза и не сразу поняла, что происходит. Из последних сил отец тянулся к стакану с водой. При каждом его движении штатив капельницы мерно бился о железную спинку кровати.

— Что ты творишь! — крикнула я, — Ты

убьешь себя!

— Это ты меня убьешь! Я умру от жажды в этой дыре! — закричал он в ответ. — Что ты вообще тут делаешь? Спать сюда пришла? Лучше позови санитарку, мне нужно судно.

— Я подам тебе судно, не кричи.

— Нет, санитарка, я сказал!

— Хорошо, санитарку позову, но воды не дам! — и я демонстративно отставила стакан на подоконник.

В ту ночь отец так и не заснул. Мне пришлось караулить место водопоя и каждые пять минут смачивать его пересохшие губы. Он мстительно щурил глаза и все чаще требовал воды. К утру я уже едва держалась на ногах. Хирург, принявший смену, внимательно осмотрел больного и констатировал отсутствие динамики.

Я вышла за ним из палаты:

— Доктор, отца нужно кормить: он ослабеет с каждым днем и без воды не протянет. Вы знаете, что он устроил ночью?

— Да, да, мне говорили. Очень странно, что снотворное не подействовало. Давайте поступим так: будем давать ему воду маленькими дозами. Одна чайная ложка каждые пять минут. Если все пойдет нормально, и спазмы прекратятся, дозу увеличим. Как только вода начнет усваиваться, ваш

отец пойдет на поправку.

— Доктор, почему у него непроходимость, — спросила я, — разве это нормально?

— Все это временно. Его оперировала лучшая бригада, а хирурга вызывали из самого Владимира, так что не беспокойтесь, девушка, все будет в порядке. Как, кстати, ваше имя?

— Мое имя? Да, имя... Стоп! Почему мне никто не сказал, что отца резал хирург из Владимира? — мои руки затряслись. — Зачем вы вызвали врача со стороны? Ваш Петр Иванович лечит отца каждый год, знает всю историю болезни, видит картину целиком, они друзья, в конце концов!

— Да успокойтесь вы девушка! — остановил меня врач, — Наш Петр Иванович прекрасный хирург, но мы должны были подстраховаться: все-таки уровень областных и наш собственный...

— Подстраховаться насчет чего? — мне стало не по себе, — Или перед кем?

— Мы просто делали свое дело, Ника!

И назвав меня по имени, которого ему никто не сообщал, он бодро зашагал по коридору.

Я побежала к телефону:

— Петр Иванович, вы же сказали, что резали сами!

— Да, Никуш, я так сказал.

— А как же хирург из Владимира?

Пауза.

— Да, моя девочка, резал он, но я ассистировал. Могу тебя уверить, все прошло нормально.

— На высоте кровотечения?

— Да, было непросто, но ждать мы не могли.

— Интересно, почему?

— Потому, Ника, что так решил консилиум. Да не переживай ты так, выкарабкается твой папка, он сильный, он справится. Дождись меня, я скоро буду, — и Петр Иванович повесил трубку.

Алла Васильевна сидела в палате с расстроенным лицом и что-то тихо внушала отцу.

— Ильич, так нельзя, — донеслось до меня, — ты сам слышал, «по одной чайной ложке», зачем же скандалить?

— Я лягу, посплю, — обратилась я к ней, — Разбудите, когда придет Петр Иванович! Мне нужно задать ему вопросы.

— Иди домой, выспись, поешь. Хочешь, подежурю ночь?

— Если я пойду домой, то просплю все на свете, а у меня сегодня важный разговор.

— А я тебе позвоню, — пообещала Алла Васильевна, — Иди, и ни о чем не беспокойся!

На кухне пахло супом и котлетами. Я подошла к плите, открыла сковородку.

— Нет, для начала что-нибудь попроще, — я опустила крышку на место и налила себе чая.

Допить не смогла, потому что заварка показалась слишком горькой, а сахар — слишком сладким. Я набрала воды, залезла в ванну и тут же отключилась. Звонок телефона, вернул меня к жизни. Алла Васильевна сообщила, что Петр Иванович заступил на дежурство.

Я глянула на часы — сорок пять минут, не так уж и плохо, учитывая то, что я не захлебнулась. Я распахнула шкаф, достала теплый свитер, спортивные штаны и самую уютную футболку, потом затолкала в рот котлету, запила ее остывшим чаем, оделась и вышла из дома.

Петр Иванович стоял в глубине коридора и что-то объяснял санитарке, увидев меня, улыбнулся:

— Пойдем, Ника, выпьем кофе, обсудим наши дела.

Кофе оказался на удивление приличным, и мало походил на тот ячменный суррогат, которым потчевала нас отчизна. Я залезла на диван, поджала ноги, сделала маленький глоток:

— Сегодня днем я говорила с дежурным врачом. Похоже, у вас в отделении есть офицер КГБ.

— Какая недетская прозорливость! —

усмехнулся Петр Иванович, — Давай-ка оставим догадки и обсудим наши дела.

Он подробно описал состояние отца в момент поступления, ход операции, осложнения, возникшие в послеоперационный период, все их последствия. Он объяснил, что отец находится в кризисной фазе, а на этом этапе больные, как правило, нуждаются в особом внимании и постоянном уходе.

— Все будет хорошо, — пообещал мне Петр Иванович, — Не бойся, я его не брошу.

Следующие двое суток я просидела в палате, потому что отцу стало хуже. Жидкость по-прежнему не усваивалась и вызывала все новые приступы рвоты, переходящей в судорожную икоту. Дама — хирург, сменившая Петра Ивановича, самолично вставила отцу зонд и грозно рявкнула на притихшую команду. Из всей медицинской братии, которой изобиловала моя жизнь, ее одну мне захотелось назвать Эскулапом. По какой-то причине это имя подходило ей больше, чем кому-либо еще. Она не казалась ни грубой, ни злобной, но с каждым ее появлением мое сердце сжималось, и мне нестерпимо хотелось залезть под кровать. Следующим желанием было закрыть собой отца и по-комиссарски грозно крикнуть: «Не пройдешь, гнида!». Ни того, ни другого я не делала,

потому что малодушно надеялась, что именно она — этот фельдфебель в юбке вытащит отца из пропасти, уж если не талантом, то хотя бы железной рукой, которой она правила в свою смену.

Разговоры с отцом уже сутки как прекратились — его речь стала бессвязной и спонтанной. В любой момент он мог проснуться и затребовать с неба луну, а через мгновение спать самым невинным образом, как бы в насмешку над принесенной луной. Водный баланс его организма поддерживали катетеры, натканные во все возможные места. Когда не справлялась одна вена, тут же находили другую, и к концу пятого дня катетеры прошли руки, ноги и даже пах. При встрече со мной врачи стыдливо прятали глаза, а Алла Васильевна больше не отпрашивалась с работы, чтобы сменить меня на дежурстве. На шестые сутки я силком усадила ее у отцовской кровати и впервые покинула пост. К этому моменту мой организм уже не требовал ничего, потребляя лишь внутренний ресурс и выдавая нечеловеческую трудоспособность. Я поняла, что со дня на день шестеренки сотрутся, а изношенный мотор даст сбой. И хотя ни голода, ни сонливости я не ощущала, усилием воли заставила себя пойти домой, чтобы немного поспать и просто побыть в тишине, вдали от истеричных воплей отца и безотрадных больничных стен.

Городок переживал редкий просвет в череде хронических дождей. Народ проторенными маршрутами сплетал паутину повседневности, дети сгибались под тяжестью школьных изданий. Я огляделась по сторонам и сделала вывод, что на дворе рабочий день и день этот перевалил за середину. Значит, подумала я, у меня есть несколько часов, чтобы прийти в себя и, если повезет, заснуть.

Мне повезло — добравшись до кровати, я тут же отключилась, а спустя мгновение снова открыла глаза. Разбудило меня что-то неприятное и скользкое. Мышцы моментально напряглись, я вскочила на ноги, готовая подхватить судно, швабру или стакан с водой, а если надо, совершить прыжок и удержать отца на месте. В доме было тихо, где-то тикали часы, за окном мусоровоз занимался своим нехитрым делом. Я прошлась по комнате, подняла полотенце, потрогала волосы — еще сырые; на кухне нашла кусок размороженной рыбы, повертела его в руках, положила на место. Следовало что-нибудь поесть. Я открыла холодильник, достала пакет молока, налила себе полный стакан, выпила его, сполоснула под краном, села за стол и снова налила молока уже в чистый стакан. На этот раз я заела молоко печеньем. Полегчало. Теперь предстояло найти термос и сделать запас кофе на ночь. Пружиня и

пошатываясь, я обошла всю кухню, но термоса так и не нашла, поэтому просто отсыпала в чашку три ложки растворимого кофе, обернула ее целлофаном и бросила в сумку поверх одежды.

От дома до больницы дорога шла под горку и упиралась в перекресток с большим универмагом вдоль главной городской артерии. Как всегда на перекрестке было людно. Народ привычно дрейфовал по магазинам, свой трудовой порыв держал в узде. Суровые лица, тревожный взгляд, мохеровые шапочки, дутые пальто, пакеты, купленные у барыг, стоптанные сапоги «на манке» — казалось, весь город оделся у одного прилавка, чтобы в случае опасности слиться в единый мутный поток, имя которому — масса.

До универмага оставалось метров сто, когда навстречу мне по склону выдвинулась странная фигура. Казалось, это просто-напросто один из «легких» пациентов, сбжавший в самоволку. Высокий худой человек, одетый в длинный больничный халат, шагал неестественно ровной походкой — стремительно и в то же время не спеша: голова слегка опущена, никакого напряжения в плечах. Мы поравнялись, глаза наши встретились... и в это мгновение я поняла... Нет, ничего «такого» я не обнаружила — типичное лицо легочного больного: черты заостренные, глазницы впавшие, цвет кожи землистый — вполне обычный

пациент... если бы не его глаза — они-то и были иными: в них не было эмоции, в них не светилась жизнь. Пустые зрачки неподвижно взирали на мир, вытягивая из него остатки света. Не знаю, почему люди приписывают ему женское начало, во многих религиях — это она. Но я собственными глазами видела: это — он. От него веяло тяжестью и безысходностью. Присутствия зла я не ощущала, скорее, его отсутствие, как и отсутствие всех известных определений и категорий. Было в нем что-то фатальное и от этого жуткое, а еще холод, не физический, другой, холод вакуума и неотвратимости. Субстанция, с которой невозможно договориться, потому что договариваться не с кем, не о чем и не имеет смысла — твои слова ее заботят так же мало, как пение птиц, а эмоций она просто не распознает. Озноб, достигший дна души, на время заморозил чувства, а следом накрыло отчаянье. Полный коллапс надежды — вот имя той, от которой не сбежишь, называй ее хоть «легкой», хоть «милосердной», хоть «героической». Ну вот я и скатилась на «она» — традиции-с! «Скользкий» прошествовал мимо, не торопясь, бесшумно, как мертвый лист в безветренную пору, а я все вертела головой и удивлялась, почему никто не тычет в него пальцем, не шепчется, не шарахается в сторону. Неужели странный прохожий — лишь

греза наяву, плод бессонных ночей, порождение истерзанного ума? И все-таки он не был невидимкой: его замечали, его сторонились, как сторонятся инфекций, при встрече с ним опускали глаза. Длинная серая фигура скрылась за поворотом, а я еще долго вглядывалась в лица, не находя в них ни паники, ни потрясения... ничего, кроме тоски и беспросветной уверенности в завтрашнем дне.

Алла Васильевна бледной тенью жалась у двери:

— А мы тут без тебя чуть не померли! Откачивала целая бригада! Чего я только не насмотрелась!

— Вы о спазмах? Они теперь намного чаще. Ступайте, отдохните, я вас подменю.

Вздых облегчения, и Алла Васильевна заспешила на выход.

Отец лежал с закрытыми глазами без видимых признаков жизни. Внезапно он заговорил:

— Это конец. Со мной все кончено.

— Не смей так говорить! Ты приходишь в себя, твоя речь не бессвязна. Я верю, что все обойдется! Ты, главное, соберись! Я буду рядом, я помогу.

— Хочешь сказать, будем бороться?

— Обязательно будем! — я старалась звучать

убедительно, — Мы же справились летом, справимся и сейчас.

— Да, нужно бороться, но я не могу бороться с системой.

— Что ты имеешь в виду?

— Меня здесь не лечат, меня уничтожают...

В дверях появилась мадам Эскулап, она приблизилась к отцу, ловко всадила в катетер какую-то муть.

— Пришли в себя? Беседуем? О чем? — неизвестно к кому из нас обратилась она.

— Скажите, что вы ему колете?

— Успокоительное, девушка, мы колем успокоительное.

— Какое? Я хочу знать название.

— А что вам даст название? — усмехнулась мадам.

— После ваших уколов он ведет себя как овощ. Это что, психотропное?

— У, какие мы знаем слова! Считайте это мягким психотропным.

— Зачем оно? Его надо лечить, а не вырубать.

Чем дальше я смотрела в эти водянистые глаза, тем больше понимала: ждать ответа бессмысленно.

— Пока не прикончите, не остановитесь, — произнесла я в пространство.

— Мы будем делать все, что полагается.

Кстати, вы посчитали количество жидкости на выходе за сутки?

Я схватилась за голову. Как я могла забыть? О чем я только думала! То ли от усталости, то ли по халатности, я не выполнила свои обязанности, не помогла отцу. Смутившись окончательно, я брякнула первое, что пришло на ум, поняла, что сморозила глупость и залилась густой краской. Мадам Эскулап усмехнулась, посмотрела на меня то ли с сочувствием, то ли с жалостью и вышла из палаты.

Ночью у отца открылся бред. После короткого затишья он пришел в ярость и начал извергать нелепые конструкции, сыпать проклятиями. Едва дождавшись утра, я сбежала в ординаторскую:

— Петр Иванович, у нас беда — отец в бреду. Чем я могу помочь?

— Хватит с тебя, Вероника. Ты уже неделю на ногах. Ты хотя бы ешь?

— Поговорите со мной! Не отмахивайтесь! Если дело плохо, нужно давать телеграмму бабушке. Отец — это все, что у нее осталось... она растила его одна... мужа убили на фронте..., - мой голос дрогнул, — Она ничего не знает. Никто ничего не знает. Мне никто ничего не говорит — одни только фразы... Смилуйте, доктор, скажите мне правду!

— Да, Вероника, отправляй телеграмму.

Стараясь не думать и не сознавать, я добежала до почты, отбила там срочную телеграмму, нашла свободную кабинку и набрала номер кунцевской тетки. Я еще верила, что врач московской неотложки поможет моему отцу.

— Тетя Люся! Это Ника, узнали? Доброе утро! Тетя Люся, отца прооперировали, похоже, неудачно. Боюсь, что здесь его не вытащат — условия не те. Нужен свой врач из Москвы. Помогите!

— Это не так просто, — вздохнула тетка, — Я наведу справки, узнаю, что можно сделать. Перезвони вечером.

«Перезвони вечером» звучало оптимистично в контексте последних событий, но надежда на московских специалистов, на приезд бабушки, на ее материнское чудо, придавала мне сил.

После общения с теткой я вернулась в больницу и до самого вечера просидела с отцом, пытаясь разобрать его бред, вклиниться в него, воззвать к внутренним силам организма и, вконец измотавшись, уснула тут же на стуле. Сон был серым и вязким, с неспешными водоворотами, завихрениями бесцветной дымчатой массы, с просветами в виде случайных лиц, невнятных слов и голосов, обращавшихся ко мне с какой-то

просьбой. Меня кто-то тянул из бездонного колодца и методично диктовал на ухо порядок действий на случай химической атаки с воздуха.

Я открыла глаза: надо мной стоял Петр Иванович, он тряс меня за плечо и монотонно объяснял сестре, что кофе должен быть без молока, но с сахаром.

— Ника, детка, просыпайся. Твоя бабушка здесь, ждет у меня в кабинете. Я не могу разобрать ее слов. Она у тебя человек крепкий?

— Покрепче нас с вами, — промямлила я.

Язык плохо слушался, мозги с трудом возвращались в реальность.

— Давай, поднимайся, а Мила пока приготовит нам кофе.

Бабушка была напугана, но держалась твердо. Она слушала мой рассказ и, похоже, не верила, что за какую-то неделю ее умный, красивый и вполне здоровый сын превратился в растение, что рядовая операция закончилась так страшно.

— Я могу видеть Антошу? — обратилась она к врачу.

— Да, конечно, — Петр Иванович поморщился, но взгляда не отвел, — Мы для этого вас пригласили.

С минуту бабушка сидела молча, потом повернулась ко мне:

— Иди деточка, скажи папе, что я приехала... приехала помочь, а не из-за каких-то осложнений. Скажи, что он идет на поправку. И обязательно улыбайся! Антон не должен думать о плохом. Вы понимаете, о чем я говорю? Ника, переведи доктору!

— Бабуля, он понял! — но на всякий случай я повторила ее слова по-русски.

Петр Иванович кивнул, поднялся с места:

— Иди Вероника, сделай все, как просит бабушка.

Отец лежал, уткнувшись взглядом в потолок, на мое появление отреагировал стандартно — потребовал воды. Я поднесла ему стакан, поправила подушку, одело.

— Приехала бабушка... Хочет помочь... Она посидит с тобой, пока я посплю...

— Опять поспишь! Ты только и делаешь, что спишь. Займись, наконец, делом!

— Скажи, каким.

— Найди себе занятие, не болтайся по дому. От безделья мозги раскиснут.

Следовало срочно вернуть отца к теме, поэтому я повторила громко и отчетливо:

— Приехала бабушка, хочет с тобой посидеть.

— Ты все еще здесь! Болтаешься без дела! Немедленно найди себе занятие!

Дверь потихоньку отворилась, и на порог шагнула бабушка.

— Здравствуй, Тонюшка! Ты что-то похудел! Ну, ничего, это все поправимо, — она подошла к отцу, взяла его за руку, — Я побуду с тобой, пока тебе не станет легче.

Она погладила отца по голове:

— Ты на Нику не сердись и голоса не повышай — она тебе пытается помочь. Соберись, Антоша! Возьми себя в руки! Ты же сильный человек! Негоже распускаться! За жизнь нужно бороться...

Когда я вернулась в палату, бабушка что-то внушала отцу, она с нежностью водила рукой по его волосам, по впалым бескровным щекам и улыбалась так тихо, так спокойно.... Отец соглашался, кивал, в его влажных глазах впервые светился рассудок.

— Мы решили бороться, — сообщила мне бабушка. — Теперь все будет хорошо.

— Теперь все будет хорошо, — прогудел Петр Иванович, с довольным видом потирая руки, — Антона переводят во Владимир.

Мы с бабушкой испуганно переглянулись, но Петр Иванович перехватил наш взгляд:

— Сами видите: у нас ни условий, ни аппаратуры. У областных и уровень повыше, и

специалисты покрепче, и реанимация последнего поколения.

Его голос звучал решительно, и я подумала, что на этот раз, он твердо верит в то, что говорит. Похоже, встреча с моей бабушкой, его чему-то научила.

Наступило осеннее позднее утро. Больничный коридор ожил голосами и стуком каталок. Шаги за дверью сделались громче, а секунду спустя в палату вошли санитары. Дежурный врач осмотрел отца и скомандовал:

— Можно везти!

Началась возня, неразбериха с капельницами и катетерами. Отцу опять что-то влили.

Он потянулся ко мне, и в каком-то безудержном порыве я ухватила его за руку, прижалась к ней губами. Водянистый пузырь на запястье колыхнулся, прогнулся и вернулся на место.

Плечистые парни развернули носилки, а в следующий миг я сделалась частью ночного кошмара.

Отец вдруг сел на кровати, выпучил глаза, потянул на себя одеяло и с криком:

— Это можно есть! — впился в него зубами.

Я взвизгнула и отшатнулась:

— Уроды, что вы опять ему вкатили?

— На дорожку полагается, — ухмыльнулся санитар.

Тут в комнату влетела тетка в марлевой повязке и начала из шланга поливать плитуса чем-то едко вонючим.

— Что вы делаете?

— Тараканов морим, — жизнерадостно сообщила тетка.

— Вы что не видите, здесь тяжелый больной?

— Так его же увозят!

— Его еще не увезли!

— Так мне что, подождать?

— Пошла вон! — заорала я страшным голосом.

Санитары подхватили носилки и бодро зашагали в коридор. На лестнице носилки совершили крен, и отец начал медленно заваливаться в бок. Я подставила руки, чтобы не дать ему выпасть. Мальчики ухнули, дружно выровнялись и беззаботно поскакали по ступенькам. На улице они остановились, дождались, пока бабушка сядет в фургон, и следом занесли отца. Шофер брызнул в окно окурком, завел движок, Алла Васильевна открыла дверь и юркнула к нему в кабину.

— Куда мне сесть? — спросила я растерянно.

— А мест больше нету, — отрезал шофер.

Машина зарычала и тронулась с места.

Некоторое время она вихляла по больничному двору, пока не скрылась за оградой.

Тугой порыв распахнул мне пальто. Сумка с вещами оттянула вмиг ослабевающую руку.

Я медленно шла по больничной аллее, и взъерошенные воробьи провожали меня хмурым взглядом.

Я почему-то не мерзла, не чувствовала приближения циклона, а он взял да и накрыл весь белый свет, запорошил мне голову и плечи.

Нет, я не жаловалась, не роптала, я знала: он что-то мне хочет сказать.

Снег путал волосы, заглядывал мне под ресницы и превращался в капельки росы.

Он медленно струился по щекам, и мне казалось, из души уходит свет, и холод остужает сердце.

Добравшись до постели, я тут же отдала швартовы. Причалила, спустя полсуток, когда из Владимира вернулась бабушка.

В тот вечер мы почти не говорили, просто сидели у окна и смотрели, как белое непроглядное полотно занавешивает силуэты прежнего мира.

Рано утром приехала Алла Васильевна, но не одна, а в сопровождении незнакомой тетки. Обе вели себя болезненно и напряженно.

Я поднялась им навстречу:

— Ну, что же вы так долго не звонили? Мы уже начали волноваться.

— Правильно, что начали, — хрипло отозвалась Алла, — умер Антон сегодня ночью.

Тут пришедшая тетка извлекла из воздуха стеклянный пузырек, ловко вытянула из него пробку и сунула бабушке под нос. Алла Васильевна замахала передо мной серым ватным тампоном. Бабушка заголосила, заметалась по дому, а я опустилась на диван и тупо уставилась в пространство.

Последующий мрачный ритуал напоминал мне черно-белый фильм сквозь мутное немытое стекло. Люди с настороженными лицами сновали взад — вперед, подсаживались, что-то говорили. Какое-то время перед глазами мелькала моя медицинская тетка, она то охала, то горестно вздыхала и, словно в старом анекдоте, сокрушалась: «Ну почему вы не сказали, что ему настолько плохо!». Ее смазливая дочка битый час исповедовалась мне, что залетела неизвестно от кого на чьей-то бурной вечеринке. Умные люди деликатно молчали, посетители попроще болтали без умолка, и сами того не ведая, уводили меня от реалий, снимали часть тяжести с моей души. Во всем этом скорбном бедламе спасало одно: среди нас, троих женщин, потерявших самое дорогое, не оказалось ни одной «страдалицы», с которой нужно

было нянчиться, которую полагалось утешать. Мы стойко прятали горе внутри, вершили рутинный житейский обряд и смиренно готовились в путь. Бабушка взяла на себя все ритуальные расходы, оплатила фургон и дорогу до дома, чтобы похоронить отца на родине, доставить гроб к его последнему приюту.

В день отъезда в квартиру набился народ — знакомые и сослуживцы пришли проститься с телом. Снизу послышался грохот дверей, шарканье ног, тяжелая поступь...и четверо мужчин внесли продолговатый гроб. Толпа сомкнулась в плотное кольцо, я в ужасе попятилась назад. Мне показалось, что увидев отца, я окончательно уверую, мой разум не выдержит рухнувшей правды и поведет себя непредсказуемо и дико. Раздался чей-то сердобольный голос:

— Пропустите дочку к гробу!

Скорбящие дрогнули и расступились, В звенящей тишине я подошла к отцу, поцеловала его в лоб... и ничего не ощутила — лишь едва уловимый запах морга да обжигающий холод на губах. Передо мной был не отец — то, что лежало в гробу больше не являлось им по сути. словно плохо нарисованный портрет, он не вызывал во мне чувств. В тот момент я отчетливо поняла, что формальный поцелуй формальной оболочки не может быть актом прощания, что горечь и боль,

рвущие меня на части, никак не относятся к бранным останкам. Знала я и то, что диалог с крепко замороженным в дорогу телом так же нелеп, как разговор с самим гробом, в котором оно покоится, а внешние атрибуты горя и страдания — лишь часть той органичной мистификации, что призвана облегчить нам выход эмоций. Жалость к себе и тоска по иллюзиям — вот, что оплакивает большинство из нас. Горе, истинное горе приходит потом, когда жизнь без ушедшего становится невыносимой...

Поездка длилась восемнадцать часов, и все это время бабушка ехала в крытом фургоне, охраняя покой безмятежного сына. Я показывала водителю дорогу и читала указатели, Алла спала у меня на плече. В конце пути я задремала и пропустила нужный поворот. Наш грузовик подъехал к сельсовету, и путь нам преградила свадебная процессия. Водитель притормозил у обочины, вышел из кабины, прикурил. Бабушка выбралась из темного кузова, растерянно захлопала глазами.

— А что мы делаем у сельсовета? — увидев шествие, всплеснула руками, подбежала ко мне, — Что ты творишь! Хочешь праздник испортить! У людей радость, а тут машина с гробом! Не знаешь дороги, не берись!

В глубине души я понимала, что нервы у всех на пределе, что срываясь на мне, бабушка выпускает на свет часть невыносимой боли, разъедающей душу, и все же было горько оттого, что жертвой она выбрала меня.

Солнце свалилось за горизонт, когда мы въехали во двор. Из дома вышла Ева, бабушкина старшая сестра:

— Печку не топила, — произнесла она ровным голосом, — С батюшкой обо всем договорилась, — тут она отступила в сумерки и горько разрыдалась.

В нетопленном доме было сыро и неудобно, и даже в теплой одежде я продрогла до костей. Божья женщина установила образа, зажгла лампадку и затянула всеобщую. За ее спиной началось движение: всхлипы, шепот, переговоры.

Спустилась ночь. Дом погрузился во мрак, нарушаемый лишь зыбким пламенем свечей. Ко мне подошла баба Ева, похлопала по плечу:

— Бери Аллу, идем ночевать. У меня натоплено.

— А бабушка?

— Она идти не хочет.

— Она же здесь замерзнет!

Ева с тоской посмотрела на сестру:

— И правда, Марта, идем ко мне. Утром вернешься.

Бабушка обреченно вздохнула, покачала головой:

— Никуда я отсюда не пойду.

— Замерзнешь!

— Не замерзну, я уже и валенки надела. А вы идите, нечего здесь сидеть.

— А тебе не страшно с покойником в доме? — удивилась соседка, сухая тетка в черном платке и длинной овчинной жилетке.

Бабушка смерила тетку долгим взглядом:

— Не страшно.

— И ты всю ночь просидишь здесь одна?

— Я буду не одна, — бабушка провела рукой по отцовским седым волосам, по застывшим плечам, нежно разгладила складки на костюме.

— Ноженьки вы мои маленькие! — прошептала она и прижалась к ним щекой. — Все боятся покойников, а я уже ничего не боюсь, — она повернула к нам лицо, — Что может сделать мертвец? Скажите мне, ну что он может сделать? Из гроба встать? Да если он начнет вставать из гроба, я первая кинусь его поднимать. Я сама помогать ему стану! Вот только не поднять мне его, — выдохнула бабушка и уронила голову.

Ева настойчиво потянула меня за рукав, я сделала Алле Васильевне знак и, молча, мы вышли

из дома.

Еще несколько часов назад янтарная листва окутывала стволы шелковиц, а теперь ветки прогнулись под снегом и жалобно поскрипывали.

Черешни сиротливо жалась к тыну, стыдясь своей внезапной наготы.

Из сугроба торчали ржавые листья и обмякшие ветви жасмина.

Выглянул месяц, и непроглядная украинская ночь осветилась мерцанием неги, обдала ароматом прелой листвы, окропила брызгами тончайшей свежести и воспела приход зимы шумным вздохом обвалившегося снега.

На следующий день все село стеклось к нашему дому: бабки в черных платках, мужики с траурными повязками.

Гроб вынесли во двор, установили на постамент. В дом тут же вошло не менее десятка женщин. Они затопили печь и начали дружно резать, месить, толочь, варить и выпекать. Ни разу в жизни мне не доводилось наблюдать таких слаженных действий. На моих глазах капуста шинковалась в тончайшую стружку, тесто раскатывалось в ровные пухлые коржи и густо посыпалось маком. Так впервые в жизни я узнала, что деревенскую лапшу готовят вручную, а не

приносят из ближайшей лавки. Я засмотрелась на поварих и чуть не пропустила исход процессии.

Когда весь двор заголосил, я выскочила из дома и тут же потеряла равновесие: в глазах потемнело, земля поплыла из-под ног. Над ухом раздался взволнованный голос Аллы Васильевны:

— Возьми себя в руки! Потеряешь сознание — не проводишь отца, потом век себе не простишь!

Порыв ветра принес чей-то шепот, я повернула голову — шептались две старушки:

— Смотри, а дочка-то не плачет!

— Не плачет. Что за дочка!

Мне захотелось плюнуть в их сторону, но во рту пересохло. Я глубоко вдохнула, собираясь с силами, и снова покачнулась.

Все мои родственники были при деле: кто-то нес гроб, кто-то вел голосащую мать, вокруг слонялись люди пришлые и мало знакомые. Никому до меня не было дела, и Алла Васильевна билась надо мной в одиночку.

— Хочешь, возьму тебя под руку, дочка? — предложил сухопарый мужчина.

— Нет, я пойду сама, вести меня не нужно.

Я отделилась от стены и поплелась за длинной воющей колонной.

Алла дернула меня за рукав, и зашипела в самое ухо:

— Нам нужно в начало, туда, где родные и

близкие.

— Если я упаду в хвосте, никто не заметит, а там я свалюсь людям под ноги.

— Никуда ты не свалишься, ты сильная, — она схватила меня за локоть и потащила во главу процессии.

По дороге на кладбище гроб часто опускали на землю, давая возможность сменить плечо, а если надо, подмениться. В такие минуты я уходила на обочину и вместо прощания с телом растирала виски талым грязным снегом. Последний отрезок пути шел под горку, здесь отдыхали чаще и подолгу. Я отделилась от толпы, вскарабкалась на косогор, нашла себе скамейку. Метрах в десяти среди припорошенных могил зиял черный прямоугольник, вокруг топтались мужики с лопатами. Они вели себя так буднично и выглядели так обыденно, что весь этот пафосный стон, доносившийся снизу, вся галерея лукавых масок, охочих до чужого горя и поминального стола, показались мне пошлым абсурдом. Почему, думала я, бабушка исполняет перед ними эту жалкую роль? Боится обидеть традиции? Зачем она бьется о гроб и голосит на все село, тогда как ей самой хочется лишь одного — держать сына за руку, стирать со лба капельки, которыми тает его замороженная душа, шептать ему лишь одному понятные слова.

Зачем она мечется в такт этим варварским порывам, ведь у нее сейчас нет сил даже вдохнуть досыта, нет мочи поднять опухшие веки и поглядеть в лицо уснувшему сыну. Дайте ей сесть рядом с ним и пропеть ему на ухо о том, что пришла зима, лес уснул, тихо стало и бело:

— Спи, мой мальчик, спи крепко. Я поглажу тебя по головке, и тебе будут сниться добрые сны. Не бойся ничего, рядом с тобой твоя мама...

Они поднялись на гору, и батюшка запел отцу его последнюю песнь. Народ сомкнул ряды. Я запрокинула голову, а сверху на меня уставилась холодное серое небо. «Зачем идет снег, ведь его все равно никто не замечает? А может, ему тоже все равно, что его никто не замечает? Он просто идет, потому что пришло его время. Тучи висят над землей и не падают. Почему они не падают? Они и не знают, что могут упасть...».

— Родные и близкие, попрощайтесь с усопшим, — донесся до меня печальный голос.

Я подошла к гробу, опустилась на колени.

— Эх, папа, папа... не встал ты этой ночью, не подняла тебя бабушка!

На миг я окунулась в пустоту без времени и без потерь... А в следующий миг меня накрыла волна пульсирующей скорби, такой теплой и такой необъятной, что, вышла она за пределы выносимого

человеком, и словно кровь из-под нарыва, вырвалась бурным целебным потоком.

Вокруг начался кромешный вой. Реальность дрогнула, рассыпалась на мелкие частицы и превратилась в страшный сон: кто-то тянул меня за плечи, и отец уплывал все дальше и дальше, а я пыталась вытереть ему лицо, все мокрое от слез. Откуда эти слезы, и почему их так много? Да это же я изливаю горючие токи, и тонет в них наша никчемная жизнь.

Богдан, мой двоюродный дядька, схватил меня в охапку, оттащил от гроба, застучали молотки, толпа завывала, в могилу полетели комья земли, и мне почудилось, что снег пропитан кровью...

Когда все кончилось, народ стал расходиться, я подошла к свежему неряшливому холму, заваленному венками, и только тут почувствовала, что могу, наконец, о чем-то помыслить, что-то сложить у себя в голове.

Людские голоса растаяли вдали, со мной остался лишь бездомный ветер. Покой... случайный шорох оседающей земли... да пение петухов на том краю села.

Здесь, на границе двух реалий и состоялся первый монолог, в котором не было второго голоса, принадлежавшего отцу. Впервые мысль, поправшая

цензуру, расправила крылья, воспарила на небо и тихим вздохом перекрыла звуки мира.

Какое могучее присутствие жизни в этом движении облаков, в крике птиц, чертивших свой бесхитростный сюжет, в шелесте хвои на траурных венках, в пряди волос из-под косынки!

Я вбирала в себя этот мир, капля за каплей, и постепенно обретала контакт, но не с отцом, а с чем-то иным, частью чего он являлся или стал. Задвижка щелкнула, дверь распахнулась, и на меня обрушился мощный поток участия и заботы, безграничного внимания ко мне самой, а не к моим поступкам. В эту минуту я не могла ни лгать, ни притворяться, и потеряв контроль, начала жаловаться. Я жаловалась горячо и искренне, как это делают обиженные дети, уткнувшись в материнский подол и веря, что их поймут и защитят, а еще пожалеют просто потому что они есть и им плохо.

— Чего ты здесь сидишь? — Алла явилась воплощением скорби и усталости. Ее утомляла моя непутевость и попытки отбиться от стада. Контролировать меня не входило в ее планы, но мой постоянный «выпендрей» оставлял ее без переводчика и раздражал общественность. С ее слов я поняла, что отбывание поминок — мой дочерний долг, а привлекать к себе внимание я буду в более подходящее время. Мы спустились с

косогора и двинулись вдоль реки.

— Какая горькая судьба! — неожиданно изрекла Алла Васильевна, когда я уже позабыла о ее существовании, — Сколько Антону пришлось пережить! Сколько выпало на его долю! — потом добавила, явно, не к месту, — Твои дневники его просто доби́ли ...

— Дневники? Что в зеленых тетрадьях? Так это детские, отец хранил их у себя. Что нового он там прочел?

— Нет, — покачала она головой, — не детские — твой последний дневник. Антон был так разочарован, когда узнал, что ты курила на картошке. Когда он дал мне почитать, я не поверила своим глазам...

— Он сделал что?! Он дал вам почитать? И вы читали? — тут я остановилась и уставилась на Аллу, — И давно он стал давать мои дневники всем подряд?

Алла надулась, ее щеки вспыхнули:

— Я не все подряд.

— Я, знаете ли, тоже. Впрочем, извините, вы тут не причем.

— Что сказано, то сказано. Что думала — то и сказала.

— Когда-то надо начинать.

У бабушки мы провели еще неделю.

Женщины то и дело срывали на мне злость, а я считала минуты, когда смогу, наконец, вернуться к собственной жизни. Ежедневный ритуал хождения на кладбище и разговоры об усопшем тяготили своей безысходностью, но бабушке они приносили облегчение, и я терпеливо выслушивала одни и те же притчи, пока не выучила их наизусть. Я видела, как неумолимо рвется нить, что связывает бабушку с этим миром, как все чаще на дне ее зрачка мерцает нездоровый блеск. В такие минуты все уговоры, весь наш лепет казались жалкой попыткой остановить набравший силу ураган. Похоже, той осенью она впервые за долги годы, а может, и за всю свою жизнь, выпустила наружу все то, что так долго держала в себе. Она перестала сражаться ради чего-то или кого-то, перестала быть сильной и мудрой, а еще она прервала свой марафон в тени метущегося сына. И не было смысла грести против течения, держаться в фарватере, в вечной готовности прийти на помощь, уберечь или просто быть рядом. Очнувшись в мутных водах вдали от берегов, она больше не видела ни указателей, ни смысла оставаться на плаву.

Траляля и Труляля

В Москву я вернулась студеным ноябрьским утром. Холод сковал дыхание столицы, и только

клубы пара над головами прохожих да выхлопы автомобилей напоминали о том, что жизнь в ледниковый период еще продолжается.

В институте полным ходом шел учебный процесс, а в общежитии — процесс растрепывания мозгов. За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Никаких следов Васи я не обнаружила, зато обнаружила двух новых соседок. Обе перевелись на наш курс из других городов, обе звались Маргаритами, и с легкой руки обитателей этажа превратились в Ритку и Марго. Ритка бойко пела и лопотала по-французски с красивым прованским акцентом, доставшимся ей в наследство от залетного галла, носила ультрамодные шмотки и претендовала на сходство с итальянской киношной дивой. Марго Господь не одарил фасадом, зато щедрой рукой отсыпал мозгов в ее иудейскую голову. Но на этом контраст не заканчивался.

Ритка была особой легкомысленной, непутевой и добродушной. Турист из Европы безудержно клевал на Ритку, таскал ее по ресторанам, предлагал ей то руку, то сердце, то домик в горах, но Ритка беззаветно любила московскую богему, нищую и пьющую. К ней и только к ней стремились все Риткины помыслы, а заодно и купюры, доставшиеся от щедрых обитателей Аппенин и Пиреней. Влюблялась она страстно и на всю жизнь, а через неделю,

брошенная очередным несостоявшимся Феллини, рыдала в подушку и грозила свести счеты с жизнью.

Марго ни в кого не влюблялась, дружила со всеми, совершала авантюрные вылазки в места скопления интуриста, где грубо кокетничала с престарелым классовым врагом.

Из всех своих «загранпоходов» девчонки возвращались, груженные добычей: пачками сигарет, коробками конфет, духами и побрякушками, а случалось, и билетами на громкие мероприятия и самые скандальные спектакли.

Мы сошлись легко и просто и уже через неделю дружно спускали на ветер добытые у капитализма блага, с аппетитом поедали мыльный европейский шоколад, по очереди таскали трофейные штаны и майки, вызывая зависть всего факультета. Если вечером одна из Маргарит отправлялась на встречу с польским дипломатом или канадским бизнесменом, подготовка начиналась с самого утра. На стол вываливалось все, что можно вставить в уши, нанизать на пальцы и намотать на шею, одежда сбрасывалась на кровать. Все это богатство раскладывалось в смелых и безумных сочетаниях. Как правило, выбирался один, самый дикий вариант, после чего девушку одевали, обували, причесывали и украшали. Наступало время макияжа, и тут уже

весь этаж тащил косметику в тон к сумочке или перчаткам. Разодетую и раскрашенную барышню орошали духами и выпроваживали с единственным пожеланием, чтобы новый ухажер не оказался чудачком. Аромат Шанели еще долго будоражил ноздри, а мы все скакали перед зеркалом, примеряя шмотки и проводя радикальные эксперименты со своей внешностью.

В общаге было весело и шумно, а вот на факультете шли бои.

Деканат выкатил мне серию прогулов, поскольку трехнедельное отсутствие не позволялось никому. Пришлось показывать свидетельство о смерти.

— Отец скончался? Как печально! Ну, не расстраивайтесь и продолжайте учебу!

Другого я и не ждала. За годы, прожитые в этой стране, я привыкла к любому абсурду. Обижаться было глупо, тем более, что произнесла этот семантический шедевр неплохая и, в общем-то, незлобная тетка, хорошенькая ухоженная замдекана и жена полковника КГБ.

Досталось мне только от одного человека — автора известных учебников и педагога всея Руси, претендовавшей на роль Светила и любовь студентов. Она не допустила меня до зачета и, не дав опомниться, обвинила в полном отсутствии совести. Потом она долго и с упоением пела о

лености вселенского масштаба и горе — педагогах, которые выходят из таких, как я. Дослушав ее выступление, я поползла зубрить науку — педагогику, эффективность которой только что испытала на собственной шкуре. Восемь раз эта дама отправляла меня на передачу, а я так и не смогла выдавить из себя ни слов раскаяния, ни причин отсутствия на ее великих семинарах. При встрече с этой женщиной я остро ощущала, что есть на свете люди, перед которыми нельзя оправдываться, которым нельзя открывать свою боль даже в случае крайней нужды. Зачет я получила перед самым новым годом, когда «светило» заболело, и ей на смену вышел веселый дядька с красивой голливудской улыбкой.

Зимняя сессия прошла под знаком «Застолбись!». Заниматься было совершенно негде: в одном углу гнездилась Риткина богема, сценично извергающая мудрость бытия, в другом — палила легкие свита Марго, которой негде было ночевать и у которой как всегда не сложилось с властями.

Продиралась я сквозь экзамены мутным потоком везения и яростным желанием хоть каких-то денег на жизнь.

Был тихий зимний вечер. За окнами январь лил синеву, на столе мирно посапывал чайник. Скрючившись над учебником, я грызла ни в чем

неповинный карандаш.

Ритка впорхнула в комнату, бросила на стол перчатки, отставила сигаретку и театрально воззвала к дверям:

— Звезды Плющихи и гении подмостков!

В комнату ввалилось человек пять нетрезвого вида и богемного содержания.

— Как вы прорвались сквозь вахту? — ахнула я и захлопнула учебник ввиду его полной непригодности.

— Ах, барышня, мы не прорвались, мы приземлились успешно и своевременно на второй этаж вашего обледенелого строения. Позвольте измыть руки и угостить вас водочкой?

— Не пью-с, — отрапортовала я и подхватила авоську.

Гости не позволили мне в одиночку заниматься грязным делом — пока я чистила картошку, они скрашивали мой поденный труд выдержками из классики и песнями БГ.

Пили долго, нудно и с оттяжкой. К моей великой радости у пришедших оказалось двести коньяку, и мне не пришлось давиться водкой.

На утро, источая перегар и позоря звание «научный», я отчаянно валила коммунизм. Дядька, явно КГБ-шного толку, пытался выжать из меня еще один балл, суливший стипендию, но я катастрофически путала Рамадан с намазом и

отказывалась признавать первичность бытия. С дуру я выплюнула цитату из Аристотеля, согласно которой, опыт не является истиной в последней инстанции, спохватилась, но поздно, зависла над трояком и...

... в этот момент крепко спавший во мне монстр пробил праведную оболочку. На экзамене по научному коммунизму во мне родился политический урод, отвязный и циничный, хитрый и бессовестный. То, что я произнесла тогда перед товарищем, блюстителем научных гениталий, не подлежит озвучке.

Сорок минут спустя я вышла из аудитории, сглотнула спазм и влажной рукой погладила зачетку — эквивалент сорока рублей в месяц.

Во дворе меня поджидала нежнейшая композиция из Ритки и ее богемного Николя. Оба вяло отреагировали на результат моей идейной проституции, переглянулись, пожали плечами и предложили ехать с ними в театр. Николя страшно торопился, боясь прогневать строгое начальство. Его роль в спектакле была эпизодической и несколько абстрактной, а вот табуретка в руках режиссера являлась объектом вполне реальным. (Через пятнадцать лет, увидев Николя в рекламе пива, я вспомнила, что в юности его лупили табуреткой, и многое ему простила...).

Мы слопали по пирожку и полетели на Плющиху, в подвальчик жилого дома, где обреталась театральная студия «Вереск». Руководил студией выпускник Института Культуры, хваткий, не лишенный юмора и комплексов парнишка из Баку, закисший в подражании Марку Захарову, и не видевший разницы между темпераментом гения и внешней атрибутикой кавказских понтов.

На место прибыли с серьезным опозданием, но Николая заверил, что спектакль без него не начнется.

Отзвенели звонки, свет погас, зал притих и спектакль начался. Ритка вся напряглась и подалась вперед, я немного поерзала на жестком сидении, потом расслабилась, отбросила дурные мысли и поплыла в компании пиратов на далекий и сказочный остров сокровищ.

Актеры старались, действие развивалось, зритель сопереживал. Весь слабый пол вздыхал по Смоллетту, вернее, по его исполнителю. Парень явно не по возрасту болтался среди студентов, был красив мужской красотой, играл страстно и уверенно. Но не ему я аплодировала в конце спектакля, а Джону Сильверу в исполнении белобрысого парнишки с циничным прищуром и мощной энергетикой.

В тот же вечер Ритка объявила, что посвящает

жизнь театру и на долгих две недели исчезла с горизонта.

Что случилось с Марго, оставалось загадкой, но только и она исчезла вслед за Риткой. Объявилась внезапно, угрюмая и агрессивная. Накурившись какой-то дряни, она призналась, что сотрудничает с органами и потребовала выдать ей переписку отца с академиком Сахаровым. Получив отказ, Марго впала в бешенство и принялась разносить мою комнату: она крушила все, что попадалось на пути, а под конец запустила в меня настольными часами. Из истеричных путаных воплей я поняла, что спецслужбы застукали ее в одном из отелей и под угрозой отчисления заставили собирать компромат на студентов. Наоравшись вдоволь, Марго пинком открыла дверь и, громко матерясь, пошла гулять по этажу.

Я убрала последствия погрома и побрела звонить Любаше. В этом семестре Любаша снимала квартиру, и я надеялась пересидеть у нее этот дикий январь. Телефон долго молчал, потом трубку сняла какая-то женщина и сообщила, что неделю назад Любаша попала в аварию. В компании друзей она возвращалась с пикника, когда на встречную полосу вылетел КАМАЗ. Не выжил никто...

Четвертый курс... каникулы...

Я целыми днями сижу в своей комнате. У меня

нет сил встать и уехать.

Марго изливает на меня злость за свое предательство, пытается найти конфликт в самом факте моего существования.

Я не пускаю ее на порог, отчего она бесится все больше и больше.

Внезапно Марго исчезает, и я остаюсь совершенно одна...

Было раннее утро, когда в дверь постучали. Ворча и вздыхая, я выползла из-под одеяла, накинула халат, прошаркала к дверям.

Высокий темноволосый мужчина шагнул через порог:

— Вы — Ника?

— Я — Ника.

— А я — Владимир Иванович.

— Вы, что наш новый комендант?

— Нет, я не комендант, я — архитектор, строю заводы в Сибири.

— Теперь будем строить в Москве?

— Если надо, будем, — серьезно ответил мужчина, и не дожидаясь очередного вопроса, перешел в наступление, — Вам известно, где сейчас Маргарита?

— Улетела с Воландом.

— Не смешно.

— Мне тоже.

Владимир Иванович нервно помял в руках

сигарету:

— Присесть позволите?

— Можете даже курить, здесь все давно пропахло дымом.

Он сел за стол, вынул из кармана зажигалку, но курить не стал.

— Маргарита писала о вас, говорила, что вы ее единственный друг.

— Больше нет, — отрезала я.

— А что произошло?

— Она вышибла мне дверь, разбила часы — единственную память об отце, наговорила кучу всякого дерьма и улетела на метле.

— Вчера мою дочь увезли в психлечебницу, — сообщил Владимир Иванович.

Я прикусила язык. Боль убитого горем отца, тоска и смирение большого человека, под началом которого горбатилась треть населения великого края, вмиг искупили все обиды, что нанесла мне его непутевая дочь. Глядя в его глаза, я с горечью осознала, что существуют родители, готовые пойти за чадом даже в преисподнюю.

— Простите, я не знала... но ожидала, что кончится чем-то подобным...

— Расскажите мне все и, прошу вас, подробно.

Уронив голову, Владимир Иванович слушал о том, что я знала сама, о чем шептались в курилках.

Я старалась не упоминать о наркоте, о роли органов во всей этой грязной истории, но чувствовала, что сидевший напротив, все это знает без меня.

Час спустя мы вышли из общежития. Владимир Иванович остановил такси, назвал точный адрес, и водитель включил счетчик.

Какое-то время мы петляли по району, потом вырулили на Загородное шоссе, там проехали пару кварталов, свернули налево и высадились у ворот. Довольно быстро мы отыскивали нужный корпус. Владимир Иванович дал денег, и нас тут же пропустили внутрь. Марго появилась минут через пять. С первого же взгляда я определила всю длину инсулиновой иглы, на которой сидела моя подруга. Туман непослушных зрачков, мутный взгляд и плавучая вязкость движений — все было слишком хорошо знакомо мне по прошлой жизни. Марго обняла отца и присела на стул:

— Ну это же понятно, меня упекли сюда за отказ сотрудничать!

— Тише, девочка, не шуми, — Владимир Иванович погладил ее по руке, — не стоит говорить об этом вслух.

— Мне сказали, что выпустят через несколько месяцев, — объявила Марго и уставилась мне в лоб.

— Через четыре, Марго. Обычно это четыре месяца, — произнесла я вполголоса.

— Вашу мать, а как же я буду сдавать сессию?

— С этим разберемся, — успокоил отец, — ты отдыхай и кури поменьше. А я поговорю с кем надо, и тебе разрешат прогулки. Ты только веди себя тише.

— Да, тут не повеселишься! — хмыкнула Марго.

— У тебя соседи-то нормальные? — спросила я.

— Хороший вопрос. Тут все нормальные, одна я — псих, — Марго повела плечами и болезненно поморщилась, — Такое чувство, что стекла наглotalась, все внутри скрипит и звякает. Хожу как алкаш — то клинит, то заносит.

Мне стало не по себе — всегда разумная циничная Марго в образе овоща смотрелась диковато. Владимир Иванович заметил мою реакцию, поднялся с места, заходил взад-вперед.

Марго немедленно встревожилась:

— Ты же меня не бросишь? Ты ведь останешься в Москве? Хоть ненадолго?

— Я пробуду здесь неделю, — сказал Владимир Иванович, — а когда уеду, тебя будет навещать Вероника.

— Будешь? Правда? — Марго уставилась на меня немигающим взглядом.

— Буду, — ответила я.

— Только не приводи никого ... и не надо обо мне особо распространяться.

— Не буду, — пообещала я, отлично понимая, что деканат уже в курсе и деликатничать не станет.

Я ошибалась. Авторитет Владимира Ивановича, его финансовая щедрость, а может, и то, и другое заткнули словесную брешь: в то время, как о судьбе Марго гудел весь факультет, наш деканат не проронил ни слова. На вопросы «Где она?» и «Что с ней?» из деканата отвечали односложно: «В академическом отпуске». Слухи сочились из всех щелей, всплывали в самых неожиданных местах и исходили от людей, настолько далеких от Марго, что закрадывалась мысль об их тайной и нежной дружбе с известными органами. О том, что я дважды в неделю навещаю дурдом, не знал никто. Все помнили нашу с Марго перепалку и не приставали с расспросами.

С наступлением семестра Ритка вернулась в общежитие и тут же озаботилась моим духовным ростом. Она заставила меня пересмотреть все спектакли с участием блистательного Николая, потом устроила из моей комнаты клуб фанатов студии «Вереск». Постепенно я запомнила имена всех актеров и названия ВУЗов, где они обучались в отсутствие гастролей.

Митька был местным гением, любимцем публики и режиссера. В роли Джона Сильвера он выглядел почти устрашающе, а в жизни оказался

славным парнем, в меру застенчивым милым физтехом. Он не был похож на героев, которых играл: много шутил, был прост и органичен. В обычной жизни его трудно было принять за актера. Во всей этой шумной компании он выглядел гостем, случайно попавшим на вечеринку разгулявшийся богемы. В студии его любили, над ним не подшучивали, и даже страшный режиссер не повышал на Митьку голоса, не швырялся в него реквизитом, не делал едких замечаний. С Митькой дружили все, за ним признавали талант, ему не завидовали даже на распределении ролей. И только Николя в душе посмеивался над органичной порядочностью друга и всячески настраивал его на авантюрный лад.

По вечерам по окончании спектакля вся труппа летела в «Смоленский», у входа в магазин выворачивала карманы и после недолгих подсчетов верстала меню.

Закинув за плечи опухшие сумки, мы дружно спускались в метро, разбредались по вагону и до конца поездки дремали под перестук колес и перезвон бутылок.

Засиживались допоздна: разбирали спектакль на цитаты, смеялись над проколами, хаяли необузданный нрав режиссера, обсуждали похождения товарищей по сцене и в который раз затягивали «Восьмиклассницу».

Градус постепенно нарастал, банкет приобретал все признаки попойки, когда тебя никто не слышит, а звуки сливаются в один акустический стон. Ближе к ночи «прямоходящие» в обнимку с «нестойкими» расплзались по заснеженной Москве, чтобы утром проснуться с головной болью и намерением посвятить остаток жизни борьбе со змием.

Митька жил на Проспекте Мира, и опоздать на метро для него означало замерзнуть. В такие дни он понуро тащился в общагу, просил дозволения заночевать на коврике, бывал допущен к свободной койке и благодарно сопел на ней до самого утра. Симпатичный блондин, звезда и любимец всей студии, профессорский сынок и гордость Физтеха спал в моей комнате, боясь шевельнуться. Воспитание — страшная сила!

Наступила весна и эпоха по имени «Митька». Мы часто и подолгу бродили по Москве, гуляли по набережным, блуждали в переулках. Митька рассказывал мне о семье, о журнале, который издает его отец, о маме, которая печет замечательные пирожки и маленькой племяннице, которая не хочет быть Катей и требует, чтобы ее называли Редиской. С каждой встречей нас все больше тянуло друг к другу. Институт с его бесконечным марксизмом стал тяготить и

раздражать. Рассудок кричал, что в этом прагматичном мире стоит надеяться лишь на себя и на свое образование, а душа хотела праздника и маленьких сиюминутных радостей.

Вскоре Митька окончательно переехал ко мне. Ритка старалась нам не мешать, и как могла, оберегала наше право на частную жизнь. Однако, наступала ночь, и вся взъерошенная студия с хохотом заваливалась в нашу комнату, еще несколько часов по инерции фонтанировала репликами из спектакля и смешными накладками во время прогона. Как и мы, большинство наших друзей исполняло гимн весне и оду легкомыслию, так что веселье было коллективным, а оптимизм повальным.

Увы, но радовали наши сборища не всех. Первый звонок прозвенел уже в марте, когда комсорг отловила меня в коридоре и, элегантно матерясь, потребовала объяснений.

— Хмельницкая, общественность гудит, — возвестила она, хмурия лоб, — рассказывай, что происходит в твоей комнате.

Я скорчила невинное лицо:

— Ну, что ты, Света, моя комната — оазис чистоты и целомудрия, а мои отношения с Митькой — не твое комсомольское дело.

Комсорг пошловато хмыкнула, похлопала меня по плечу и понеслась затыкать глотки особо

рьяным моралистам.

С Риткой все оказалось сложнее — ее вылазки в буржуазный мир не остались без внимания. Половые органы Москвы пришли в возбуждение, и в деканат поступил сигнал, отдающий настойчивым тухлым душком. Ритку задержали комсомольские вожаки, а следом и блюстители порядка на уровне общежитейского совета.

Началась пора гонений. Бесконечные рейды местных ищеек издержали нас до предела, но паче оных убивал цинизм, с которым налетчики вскрывали двери наших комнат. Эпистолярным шедевром, вопиющим о нашем с Риткой нравственном падении явилась телега, составленная наспех малограмотной и пьющей комендантшей, в которой она сообщала о злостном нарушении режима, приводила точную цифру окурков, найденных в нашем помойном ведре. Никотиновая зависимость моей подруги переполнила чашу терпения добродетельных сынов и дочерей комсомола. Собрался студсовет. Список наших пороков, представленный на общий суд, мог служить руководством по падению в моральную пропасть, а перечень наших с Риткой злодеяний — лечь в основу кровавого триллера. Розовощекий президиум дружно охал, слушая интимные подробности Риткиных любовных экзерсисов и гневно шипел при описании фирменных шмоток,

отловленных в ее шкафу. В целом, картина тлетворного влияния Запада на неокрепший ум юной потаскушки повергла в шок даже выдавших виды административных теток. Было решено исключить вышеуказанную особу из списка жильцов и поставить вопрос о целесообразности ее учебы в институте. Смачно переглядываясь, члены высокого собрания перешли к вопросу о моей моральной устойчивости. И тут выяснилось, что живописать обо мне совершенно некому, поскольку единственным свидетелем моего бесчестья был Васик, членом совета не являвшийся, а показания обычных членов студсовет в расчет не принимал. Мне попытались инкриминировать связь с малохольными артистами, но и тут за отсутствием свидетелей наличие состава оказалось под угрозой. Изрыгая ненависть и злобу, комендантша выкатила статистику по невымытой посуде, населявшей мое скромное жилище, обвинила в нежелании сотрудничать в поимке и сдаче таких сексуальных рецидивисток как Ритка.

— Бесчисленные нарушения пропускного режима со стороны Хмельницкой грязным пятном ложатся на репутацию нашего общежития, нашего с вами дома, если хотите, — начала она, гневно сверкнув очками.

— Я пропускной режим не нарушала — вас кто-то обманул, — возмутилась я.

— Она еще издевается, — ахнула начальница, — а Кораблев, он что не находился в твоей комнате в ночное время?

— Так это Кораблев нарушал, его и выгоняйте. Я правил посещения нарушить не могу, у меня пропуск есть и прописка в этой самой комнате. Так что имею право входить и выходить из нее, когда захочу.

— Но у тебя был посторонний, и это могут подтвердить присутствующие здесь участники рейда.

— Так это ваши налетчики и нарушили неприкосновенность жилища, записанную в Декларации Прав Человека, — уточнила я, — а совершеннолетний Кораблев сам отвечает за свои поступки. Он, между прочим, зашел ко мне случайно, можно сказать, ошибся комнатой, а тут влетели вы и устроили скандал.

— Все слышали? Она читала Декларацию!

Испуганным взглядом она обвела студсовет, ожидая, что сейчас развернется преисподняя, и рогатые коммунисты утащат меня в ад.

Народ поежился, но комментировать не стал: одно дело врываться по ночам в комнаты спящих студентов, рыться в вещах и перетряхивать кровать в поисках пятен от спермы, а другое — признаваться публично, что был членом бригады, морально уничтожавшей своих сокурсников.

Комендантша злобно прищурилась, шерсть на ее загривке стала дыбом:

— Вы еще не все знаете! В день похорон нашего генерального секретаря, в день, когда вся страна застыла в немой скорби, Хмельницкая и ныне отчисленная Никифорова закрылись в комнате и пели «Погоню».

Мне показалось, она даже всхлипнула, представив, с каким кощунством мы проводили на тот свет последнего из мрущих друг за дружкой генсеков.

— Так ведь «Погоню» пела, не «Калинку»! И раз уж вы прослушали под дверью весь репертуар, то знаете, что он был до конца идейным, — констатировала я.

— Предлагаю поставить на голосование вопрос об исключении гражданки Хмельницкой из списка жильцов, — рывкнула начальница и водрузила на стул свой глубокомысленный зад.

— Люда, мы собрались не для того, чтобы слушать, как ты сводишь счета со студентками.

Я не поверила своим глазам: Влад медленно поднялся с места, прошелся по комнате, остановился между мной и дикой сворой.

— Мы знаем Нику не первый год, и не надо рассказывать сказки. У нас здесь что, монастырь, или никто из вас ни разу не нарушил правил? Что тут вообще происходит? Уж если Нике в

общежитии не место, то что нам делать с доброй половиной проституток? Чего уставились? Я не оговорился, именно так они и называются. Курение у нас запрещено? Тогда откуда берутся окурки? Откуда берутся пустые бутылки? У нас что, каждый спит в своей постели? У вас такие надменные лица! Можно подумать, вы знаете больше, чем я. Кто видел у Ники в руках сигарету? Кого из вас она пустила в койку?

Повисла тяжелая пауза, которую прервал чей-то гадкий тенорок:

— А она предпочитает гастролеров.

— А тебе, я вижу, за местных обидно. — Влад вернулся за стол и оттуда продолжил, — За нарушение режима выносят выговор с предупреждением. И никаких пометок в личном деле — иначе вы создадите прецедент, который однажды обернется против вас... и угробит вашу собственную жизнь.

В комнате воцарилась тишина. Очкастая активистка нервно дернулась, открыла рот, но споткнувшись о Влада, шумно выдохнула и отвернулась. Председатель щелкнул клювом, порылся в бумажках, принял позу мыслителя на унитазе, немного помолчал, потом встрепенулся и объявил начало прений.

Совещались недолго. Вынесли мне общественное порицание с не менее общественным

предупреждением и пошли пить водку, а я поплелась наверх успокаивать Ритку и думать над своим паскудным поведением.

После совета старейшин на Ритку посыпались удары, один страшней другого. Ее погнали из общаги, определив неделю на освобождение койко-места, а следом отчислили из института за аморальное поведение.

Мы заметались в поисках жилья и во всей этой суматохе не заметили, как страну накрыли выборы.

Народ устремился к урнам осуществлять свое конституционное право, а кандидаты потянулись к закрамам. Припарковав свои «Волги» у входа в продуктовый рай, они прошествовали внутрь, а минут через тридцать вернулись к машинам, отдуваясь под гнетом спецзаказов. На лицах читалась озабоченность нашими судьбами и законное желание отметить победу в такой непредсказуемой борьбе.

Из репродукторов еще лилась «Страна моя родная», а народ на избирательных участках уже сонно поглядывал на часы, понимая, что воля его изъявлена, бюллетени заполнены, и выборы состоялись. Мы с Риткой сидели в комнате и обсуждали версии ночевки. Раздался стук, и мы невольно вздрогнули.

— С каких это пор ко мне принято стучаться? — отозвалась я.

Открылась дверь, и на пороге возникла эффектная блондинка в красном пальто и такой же красной беретке. Я тут же признала в ней куратора курса.

— Девочки, хочу напомнить вам, что время позднее, а вы единственные, кто не проголосовал, — улыбнулась она.

— Вы думаете, выборы без нас не состоятся? — пробурчала Ритка.

— Я бы на вашем месте не хамила! — произнесла куратор строго, — А вам, Вероника, могу посоветовать только одно: идите и голосуйте, пока окончательно не испортили себе жизнь.

Краснея и пряча от Ритки глаза, я полезла в сумочку, достала паспорт, сунула его в карман и побежала на участок.

Когда я вернулась, куратор стояла у двери, Ритка сидела в углу и угрюмо таращилась в пол:

— Все, что вы рассказываете — очень интересно, — процедила она, — Но объясните мне простую вещь: меня только что отчислили из института и выгнали из общежития, что по-вашему, может заставить меня пойти на выборы?

— Институт и общежитие — еще не вся жизнь, Рита, — вздохнула куратор, — вам еще есть что терять. Вот без комсомольского билета терять,

пожалуй, будет нечего.

После этих слов Ритка поднялась со стула, надела пальто и вслед за кураторшей вышла за дверь.

В конце концов, у Ритки отобрали пропуск и выставили вон, с нехитрым багажом и жалкой перспективой: родня, готовая терпеть бездомную от силы день — другой, приятели, с их монстрами-соседями и сердобольные артисты в служебных комнатах и развалившихся подсобках. Ритка злостно мечтала остаться в Москве, вот только Москва не мечтала о Ритке. Когда ночлег найти не удавалось, мы возвращались в страшную общагу и до утра дрожали, словно воры.

* * *

На улице лило, и долгая прогулка сулила неизбежную простуду. Митька и Ритка махнули через черный ход, а я, единственный легальный элемент, пошла через вахту. Открылась дверь, и мне навстречу выпрыгнула комендантша:

— Никифорова в общежитии: ее только что видели на лестничной клетке! — она злорадно сощурилась, — Я вызываю дружинников! Мы отыщем твою подружку, и сегодня же ты вылетишь из института!

В животе похолодело, я шагнула к лифту, деревянным пальцем нажала на кнопку.

«Нужно спрятать ребят, пока их не нашли ищейки!»

На этаже было тихо и безлюдно. Где-то играла музыка, с кухни пахло горелой картошкой. Я подбежала к комнате, прислушалась: ни звука... простучала условный сигнал, снова прислушалась... За дверью началась возня, щелкнул замок, и в проеме показалось бледное Риткино лицо.

— Облава! — сообщила я коротко.

Ритка напряглась, ощетибилась, словно загнанная зверь и выскочила в коридор. Какое-то время я слышала топот ее ног, но вскоре он стих. Двери лифта разъехались, и до меня донеслись голоса.

Из ванны вышел безмятежный Митька:

— А я тут куртку застирал. Представляешь, испачкался краской...

Я побледнела:

— К нам идут! Бежать больше некуда!

— Закройся на ключ! — велел мне Митька, — Включи воду, сделай вид, что моешься. Дай мне ровно минуту!

Я повернула ключ, добежала до ванны, выкрутила оба крана, и в тот же миг дверь заходила ходуном.

— Открой немедленно! — завопила комендантша, — Я знаю, что ты там!

Я обмотала голову, набросила халат, смочила руки и лицо водой.

— Уже иду! Не нужно убиваться!

С победным воплем банда ворвалась в предбанник.

— Здесь никого нет! — я раскинула руки, преграждая им путь, — Вы не там ищете! Никифорова на другом этаже — она с мужиками пьет водку и курит! Господи, что я за дрянь! Когда же это кончится!

Не утруждаясь этикетом, налетчики оттолкнули меня в сторону и гордо прошагали в комнату. Я ожидала победного рева, но услышала лишь вздох разочарования. Какое-то время они двигали мебель, хлопали дверцами, потом прошли мимо меня, заглянули в туалет, обыскали ванну, зачем-то осмотрели потолок, будто надеялись увидеть там висящего синоби, и так же молча, вышли вон.

Я проводила банду удивленным взглядом, открыла дверь, шагнула в комнату... и никого там не нашла. Я заглянула под кровать, открыла оба шкафа, раздвинула вешалки, обшарила верхние полки, поискала за дверью и в полной растерянности опустилась на пол. В этот момент окно распахнулось, и на подоконник шагнул

дрожащий от холода Митька:

— Свалили?

— Свалили, — улыбнулась я и только тут все поняла, — Ты что...ты...

— Ну да, стоял снаружи.

— Митя, это пятнадцатый этаж, — произнесла я с расстановкой, — твоя жизнь не стоит этих гнусных тварей.

— Да ладно тебе! — усмехнулся Митька, — Я нашел устойчивое положение... правда замерз как собака.

В звенящей ухающей пустоте я подошла к столу, схватила нож и резко саданула им по вене.

— С ума сошла! — заорал Митька.

— Я потеряла всех, кого любила. А ты решил поиграть в супермена!

Митька выхватил нож, со всей силы швырнул его на пол. Его крупно трясло, меня колотило от шока.

Час спустя, когда все успокоились, а моя забинтованная рука перестала саднить, Митька грустно улыбнулся и прижал меня к себе:

— Дурочка ты моя! Даже не знаешь, что вены режут на запястье — в локтях они слишком прочные.

И мы принялись хохотать на весь этаж беззаботно и громко.

В тот же день я собрала свои вещи и ушла из проклятой общаги, чтобы забыть о ней, как о кошмарном сне.

Какое-то время мы скитались по друзьям, болтались по знакомым, являя собой иллюстрацию к божественной жизни. Весенние ливни, ночная прохлада, случайные заморозки по утрам — мы не жаловались и не мерзли — нас согревало биение наших сердец. Ночи за преферансом, московские дворики, где, словно два взъерошенных и тощих воровья, мы грелись на скамейке.

Несколько раз муки совести загоняли меня в институт, но лживые глаза партийной своры в этих насквозь идейных стенах вызывали тошноту и приступы душевной изжоги. Все это время деканат призывал меня к порядку, возмущался моей беспечностью и просил не ломать себе жизнь.

Декан факультета — грубая взбалмошная старуха, осмотрела меня с ног до головы и презрительно поморщилась:

— Нам такие студенты не нужны! Забирайте свои документы!

— У меня нет выбора... и курс мне уже не догнать, — произнесла я больше для себя.

Старуха посмотрела на меня долгим взглядом:

— Послушайте моего совета, не валяйте дурака, ступайте в поликлинику, оформляйте

академический отпуск. В вашей ситуации его дадут. А теперь вон с моих глаз! — рявкнула она и ткнула пальцем в дверь.

Такой поворот устраивал, кажется, всех, и я понеслась на поиски диагноза.

Свою первую счастливую весну я потратила на медицинские комиссии и посещение врача, который взялся довести меня до академика. Дядька-невропатолог оказался самым злобным параноиком из всех известных Айболитов. Он сочинял все новые рецепты, выписывал все новые лекарства, терзал допросами и бесконечным седативом. Сама-то я прекрасно помнила, как лечится невроз, но каждый раз кивала кровопийце, боясь соскочить с больничного листа. И так как выпастись мне изверг не давал, усердно исцеляя мой несуществующий невроз, я то и дело засыпала на ходу: у Митьки на плече, в кинотеатрах и скверах, в метро и забегаловках. Словно в бреду я продиралась сквозь туман, муть в голове и вечную сонливость.

С южным ветром в Москву прибыл зной. Город накрыло марево.

Со стен домов оно стекало на асфальт и плавало его поверхность. Ветер, устало отдуваясь, копошился в листве, гонял бумажные стаканчики, выбрасывал их на проезжую часть, где они лопались под колесами

автомобилей.

Яблони приоткрыли почки и хитро поглядывали на разодетую во все цвета сирень. В такт с порывами ветра они то вздыхали, то замирали, предчувствуя собственное триумфальное преобразование.

По вечерам закат окрашивал фасады золотистым румянцем, чтобы минуту спустя, омыть их влажными тенями, окутать свежестью грядущей ночи.

Отдернув тонкую вуаль, являлась Луна, взывая к бессоннице и внезапной поэзии.

Навстречу судьбе мы тихо брели по аллее и мечтали только об одном — чтобы аллея эта не кончалась.

Июнь разродился дождем и военными сборами. Митькин курс в полном составе получил назначение в местечко под странным названием Остров.

Три недели без Митьки! Я старалась об этом не думать, гнать от себя любую мысль, чтобы достойно встретить час разлуки.

Весь путь на вокзал мы проехали, молча: просто смотрели в черноту тоннеля, считали станции и уходящие минуты. Митька был страшно простужен: из глаз текло, он хлюпал носом и часто моргал.

— Никому не рассказывай, что Кораблев

проплакал всю дорогу, — сказал он на прощанье.

— Слово пирата! — ответила я и торжественно скрестила пальцы.

Перрон колыхался и гудел. Казалось, все военные кафедры Москвы провожают своих новобранцев на далекий и таинственный Остров. Митьку тут же поставили в строй, он махнул мне рукой и исчез в водовороте. Пару секунд я видела в толпе его кудрявую макушку, но тут поток разбился на ручьи и хлынул по вагонам, чтобы минуту спустя лесом рук выплеснуться из окон. Поезд тронулся, перрон загалдел, один из вагонов запел, я помахала вслед составу, обреченно вздохнула и побрела к метро.

Был полдень, когда я вышла на поверхность. Солнце светило так ласково, лица прохожих были так приветливы, так светлы, ветер нежно гладил меня по голове, а вокруг была Москва, наша с Митькой Москва, до боли знакомая и до такая родная! Вокруг шумел город, который я знала, как собственные мысли, в котором каждая улица и мостовая были свидетелем важных событий. Вот здесь, в этой самой кафешке еще вчера мы ели мороженое, в этом магазине на последние деньги Митька купил мне конфет, а тут за стойкой мы пили кофе, чтобы согреться в январскую стужу. Мне вдруг так остро стало не хватать Митьки,

захотелось рассказать ему столько всего, обсудить с ним кучу важных мелочей, для которых все не хватало времени; поделиться с ним нашей Москвой, которой мы не умели ценить, пока были вместе, и которая оказалась такой невозможно любимой! Москва без Митьки вмиг осиротела и сделалась картинкой за стеклом, в которой для меня не оставалось места.

Когда боль стала невыносимой, я нахлобучила шлем мнимого спокойствия, закрылась от мира щитом отстраненности. Постепенно атаки утихли, я поднялась над суетой, зависла над людским потоком. С раннего детства я любила подглядывать за собой таким вот странным образом: в такие моменты я глубже сознавала свою природу, получала ответы на вечные вопросы «кто я?», «что мною движет?», «зачем я и откуда?» Жить в этом состоянии нельзя, но вот заныривать в него и поучительно, и любопытно.

В таком вот загадочном виде я появилась на пороге Риткиного дома. Мне долго никто не открывал, и я уже собралась уходить, но напоследок стукнула в окно. Бледная Риткина тень появилась из мрака, бросила мне вялое «входи» и зашаркала к двери.

— Ну, ты и спишь, подруга! — напустилась я на Ритку, — Я уже десять минут обрываю звонок!

— Я нажралась таблеток и заснула, —

равнодушно призналась она.

— Каких таблеток вы накушались, девушка?

— Достала меня эта жизнь! — Ритка плюхнулась на стул, вытянула из пачки сигарету, — Все вокруг дерьмом отдает. Думала, вырублюсь, и все на этом кончится. Мало, видать, приняла.

— С ума сошла.... А ну-ка давай телефон, будем вызывать бригаду!

— Да брось ты, сейчас упекут, сама знаешь куда. Давай выпьем чаю, а лучше водки, — предложила Ритка.

— Ага, тебе сейчас только водки, — я наклонилась над Риткой, оттянула ей веко, осмотрела зрачок.

— Брось, я уже проспалась, — Ритка выдохнула в меня сизое облако дыма, отыскала взглядом пепельницу, поднялась со стула.

— Давай пожарим картошки? — предложила я.

— Не хочу, — замотала она головой.

— Тогда одевайся, отведу тебя в кафе. Тебе надо поесть — я отодвинула стул, не давая ей приземлиться.

Десять минут спустя мы вышли в синеву июньского вечера: тоскующая неврастеничка с раздвоенной личностью и нимфоманка-суицидалка с дымящейся папироской.

Три дня я тянула Ритку из депрессивной ямы, потом махнула на нее рукой и с новым приступом тоски по Митьке купила билет до Черкасс. Аккуратно подсчитав баланс, я отложила деньги на метро, на постельное белье, на рейсовый автобус и поняла, что кормежку мой скромный бюджет не потянет.

Состав вздохнул, пару раз дернулся и тронулся с места. Как будто по сигналу все пассажиры расстегнули сумки, расстелили газеты... и в нос ударил запах свежих огурцов. Со всех сторон запахло курами, яйцами, зеленью и колбасой. Пожилая соседка, увидев мой голодный взгляд, протянула мне хлеб и куриную ножку:

— Покушай, покушай! — улыбнулась она, — У самой внук — студент, знаю, как вашему брату приходится.

От курицы мой организм пришел в блаженство: сытая улыбка расплзлась по лицу, взгляд осоловел, голова налилась. Минуту я боролась со сном, еще минуту хлопала глазами, потом зевнула сладко и снопом повалилась в подушку.

Проснулась утром на подъезде к городу.

— Вставай, приехали! — сердобольная соседка сунула мне яблоко, закинула сумку за

плечи и устремилась на выход.

Я выскочила из вагона, немного постояла на платформе, моргая и жмурясь от ярких лучей, потом стряхнула остатки дремоты и зашагала к автобусной станции. Два часа неспешной рейсовой тряски, пересадка на старый горбатый автобус — и вот за окнами знакомый до боли пейзаж.

Увидев меня, бабушка всплеснула руками, заохала:

— Ты чего такая худющая? Совсем не ешь? Папа себе желудок испортил и ты туда же? Забыла, чем дело кончилось?

— Да, бабуля, дело кончилось, — вздохнула я, — Сейчас переоденусь и схожу на кладбище.

— Сходи, обязательно сходи! Только я с тобой не пойду, вчера ходила, а сегодня не пойду — ноги болят, крутят с самого утра, — и деловито поинтересовалась, — Чего на ужин-то готовить?

— Да чего хочешь.

— Как это, чего хочешь? Питаться нужно по-человечески, а не чего хочешь!

— Тогда сделай мне вареников с вишней или с сыром.

— Сегодня налеплю вареников с вишней, а завтра сварю тебе борщ и наделаю котлет. Знаю, ты борщ не любишь, но первое есть будешь. У меня в погребе банки с огурцами, нести?

— Неси, бабуля.

— А варенье и компот?

— Не-а, не хочу.

— Может, ты чаю хочешь, вы все там чай пьете.

— Бабуль, угомонись! Я знаю, что у тебя нет чая — ты же травы пойдешь собирать! И кофе у тебя нет, только ячменный порошок, так что давай я молока попью.

И бабушка, довольная моим выбором, заспешила к погребу.

В тот вечер на столе меня ждала трехлитровая бутылка парного молока, миска отборной клубники и укутанная в полотенце кастрюля с варениками. Банка деревенской сметаны завершала мой скромный студенческий ужин.

— Чтобы все съела! — нахмурилась бабушка и погрозила мне пальцем.

— Ты только завтра не готовь! — взмолилась я, — Мне этого на месяц хватит!

— Завтра у тебя борщ с котлетами, — напомнила бабушка, — а вареники не оставляй — их доедать некому. Ты знаешь, у меня собаки нет!

— У бабы Евы есть.

— Я к Еве не пойду!

— Ну хочешь, я сама все отнесу...

— Не отнесешь! — упрямо ответила бабушка.

— А что случилось? Рекс подох?

— Да нет, живой. Мы с Евой поругались — уже полгода не разговариваем.

— Да как же вас угораздило? — ахнула я.

— Она совсем с ума сошла: свой дом переписала на золовку. Не хочет оставлять Карамзиным.

Я выпучила глаза и чуть не поперхнулась:

— А причем тут Карамзины?

— Боится, что Нинка заберет у тебя все наследство, — скривилась бабушка.

Я рассмеялась:

— На этот счет пусть не переживает: у матери такой оклад, что хватит на три жизни!

— Вот и я говорю, — гневно подхватила бабушка, — чтобы ноги ее здесь не было! Пускай живет теперь с новой родней!

Я пожала плечами:

— Могла бы завещать тебе.

— Оставить мне — значит оставить тебе, — устало произнесла бабушка и после недолгой паузы чуть слышно добавила.

— Я ведь после смерти Антоши хотела руки наложить. Уже решилась, а потом подумала: Антоша не простит, что бросила тебя одну. Так и живу теперь ради его дочери.

И бабушка горько заплакала, уткнувшись лицом в старенький фартук.

Поплакав, она захлопотала с посудой.

— Ты писала, что у тебя появился Митя. Что за Митя? Кто по национальности? Что за человек?

Я сунула в рот самую крупную ягоду.

— Митя — студент пятого курса, хороший парень из приличной семьи.

— Он учится вместе с тобой?

— Нет, Митька из другого института.

— Как же вы познакомились?

— Можно сказать, случайно.

И я рассказала бабушке про нашу с Митькой встречу, про все скитания и академ.

Бабушка выслушала мой рассказ, нахмурилась и покачала головой:

— Не знаю, может, тебе Митю Бог послал в утешение, но только зря ты ушла в академический отпуск — надо было учиться!

— Да не могла я учиться — сил не было!

— Силы всегда есть! — назидательно произнесла бабушка, и тяжело вздохнула, — Только бы взяли назад!

— На то он и академический, чтобы взяли назад.

— Ты учебу не бросай, а прожить я тебе помогу, — она полезла в шкаф, достала из-под одежды конверт, — Тут деньги тебе на жизнь. Сразу не трать! На какое-то время должно хватить.

Я замотала головой:

— Оставь себе, я проживу! Стипендии не

будет, но и занятий тоже — смогу устроиться на работу...

— Это не последние! — перебила она и протянула мне конверт.

С утра пораньше бабушка отправила меня сражаться с вишней. Похоже, она всерьез взялась за мой откорм.

— Компоты с тушенкой поставим в коробку, — распорядилась она, — а яблоки и колбасу уложим в мешок.

Она окинула взглядом шеренги заготовок и покачала головой:

— Жалко машины нет, я бы картошки положила, капусты, огурцов. Хватило бы на всю зиму!

— Бабуля, я не доведу! — предупредила я.

Но бабушка так просто не сдавалась.

— А я тебя поеду провожать.

— В Москве меня никто не встретит!

— А в том конвертике есть деньги на такси.

Вместо ответа я махнула рукой, достала с полки книжку и залегла под яблоней в саду.

Кораблевские опусы на тему военной службы приходили два раза в неделю, и каждый раз я с нежностью разглядывала знакомый почерк, штамп с красивым названием «Остров». Уже вечером я

относила на почту конверт и тут же начинала ждать ответа.

— Бабуль, а можно мы к тебе вместе с Митькой приедем? — спросила я.

— Приезжайте, буду рада, — ответила бабушка, — Только учитеесь, дети! Учеба — это ваш хлеб.

Она посмотрела на меня странным взглядом:

— Отдыхай, набирайся сил и бросай свои таблетки — ты от них какая-то квелая и спишь целый день.

— Точно, с таблетками надо кончать! Мой педантизм меня погубит! Привыкла слушать всяких идиотов. Врач прописал — я выполняю. Ты знаешь, он ведь меня не хотел отпускать, заставлял раз в неделю приходить на прием. Ты уж прости, пришлось соврать, что ты болеешь.

— Так ведь правду сказала! — поддержала меня бабушка, — Ноги совсем не ходят: когда расхожусь, еще терпимо, а вечером лягу в кровать — хоть волком вой. Ни мази, ни лекарства не помогают.

Митька в те дни казался мне особенно далеким. Вернувшись к прежней размеренной жизни, я с грустью ощущала, как расстояние крадет тепло из долгожданных писем, а время в пути искажает их смысл.

Так остро не хватало его глаз, его голоса, прикосновений, а главное, чувства, что ты не один, чувства наполненности, которое дает тебе только твоя половинка. Даже самые близкие люди не заполняют собой пустоту, не заменят того единственного, кто делает тебя самим собой. В этом состоянии половинчатости я и прожила жаркий полдень своей долгожданной весны.

Бабушка слово сдержала — поехала провожать. Мой триумфальный багаж вызвал почтение у всего вокзала. Бабушка быстро и сноровисто растолкала коробки по полкам, сурово оглядела соседей по купе, расцеловала меня в обе щеки и крепко прижала к себе.

— Пиши, не забывай! — попросила она, — Как доберешься — сообщи!

Поезд тронулся, а бабушка осталась на перроне. Я уезжала в самый лучший город, к любимому человеку, к прекрасной счастливой судьбе, она возвращалась назад к своему прошлому, к болезням и печалям, и беспросветной памяти о сыне.

Выгружали меня всем вагоном: молодые люди подогнали носильщика, выставили мой багаж, сделали мне ручкой и усвистели, закинув за спину пустые рюкзачки. Я вытащила бабушкин конверт, открыла его... и слегка покачнулась — внутри находилось десять купюр по сто рублей каждая —

моя стипендия до конца учебы в институте.

Нежданное богатство, запасы, сулившие сытость, академический отпуск, выстраданный и оформленный, наконец, официально, превратили мою жизнь в сказочный сон.

Первым делом мы сняли квартиру на Шаболовке, привели ее в божеский вид, отмыли кухню, расставили банки с вареньем и приготовили первый семейный обед. Заделявшись хозяйкой дома, я испытала гордость и подъем, а заодно сильнейший кулинарный импульс. С утра и до вечера я стряпала, изобретала рецепты, пока Митька изнывал на репетициях, мечтая о котлетках и борщах. Увы, такое счастье не могло длиться вечно. О теплом гнездышке узнали Митькины друзья и тут же сочли своим долгом скрасить наше затворничество.

Не прошло и недели, как наша квартира превратилась в общагу с вечно меняющимися жильцами. Актеры, студенты, их друзья и приятели селились у нас, позабыв свои семьи. Народ взял за правило бывать у нас запросто, а с появлением в столице первых видеосистем, устраивать просмотры в нашем доме. Беспечность и сытость пустили корни — у нас появились барские замашки: мы научились ездить на такси, кутить в кафе «Лира» и даже давать на лапу швейцару «у

дверей заведенья», чтобы сей страж пропускал нас без очереди. Со временем я забросила готовку — теперь мы питались в уютных кафе ресторанныго типа, вечера проводили в гостях или барах, щедро поили друзей, а под утро тащили их на Шаболовку доедать бабулины запасы.

Раз в неделю Митька ездил к родителям и возвращался оттуда, груженный кастрюльками. Его мама — Люся Николаевна (как звали ее домашние) готовила с душой: ее блюда всегда отличались особенным вкусом, которого иные ушлые хозяйки не могут добиться до конца своих дней. Всегда простые и незатейливые рецепты в ее руках превращались в «пирожки от маман», «Люсины пельмени» и «мамулины шанежки».

Она стала первой, с кем я познакомилась. Встреча прошла на удивление просто. Люся Николаевна была приветлива и мила, и мне показалось, что я знаю ее тысячу лет. Удивительно, она не пыталась быть доброй или строгой, она даже не пыталась быть вежливой — она просто была. Тихая, глубокая и безумно щедрая женщина, она раздавала себя с первой минуты. Ее строгость не ранила, а смех заражал своей детскостью. Рядом с ней было спокойно.

Митькин отец, Олег Петрович, был совершенно другим. Утонченный красавец, с благородной осанкой и резкой складкой у рта, он

говорил громко и ясно, смотрел сверху вниз. Давала знать привычка управлять людьми: он верховодил дома, был у всех на виду и не терпел своенравия. Человек такого ума и твердости легко мог скатиться до деспотизма, но воспитание и здравомыслие всегда брали верх.

С Олегом Петровичем мы встретились случайно: был полдень, у кафе стоял народ, мы с Митькой топтались в хвосте, мечтая о пицце и шумно вздыхая. Олег Петрович вырос как из-под земли. Он посмотрел на нас, прищурился и с видом постороннего прошептал вниз по бульвару. Митька сильно смутился, замешкался и окончательно потерялся. Говорят, в тот вечер вся семья долго и с упоением обсуждала детали нашей встречи, которые Олег Петрович живописал с присущим ему литературным талантом. Митькина сестра Алина, отложив все дела, примчалась в родительский дом, чтобы из уст очевидца услышать эту шпионскую историю. Рассказ получился захватывающим, с массой пикантных мелочей, с доброй пригоршней едких комментариев, но в целом незлым и забавным. Люся Николаевна тут же выразила готовность устроить нашу встречу, получила «добро» от супруга и, окрыленная, пошла к плите. Таким вот образом, Митькина семья впустила меня в свою жизнь.

Семья, какое емкое, могучее понятие для русского человека! Оно включает в себя и тыл, и фундамент. Сам по себе ты можешь быть, кем угодно, слыть кем угодно, но понятие семьи — сродни понятию стаи. Родник, что бьет из самого истока, запускает первобытный механизм, приводит в движение силы недоступные, а порой, неведомые людям — одиночкам. Состояние внутри семьи даруется, его невозможно ни купить, ни создать искусственно. Существует порода женщин, умеющих имитировать эту гармонию. Попадая в их мир, в этот театр внешних атрибутов, ты не сразу замечаешь, что находишься в зрительном зале. Бывало, смотришь зачарованно на мантру, состоящую из мелких, хорошо отлаженных сценариев, погружаешься в их заколдованный ритм и начинаешь действовать внутри пьесы, созданной ее автором с единственной целью — убедить всех вокруг и себя в том числе, что она совершенна. В таких семьях все на показ, здесь нет ошибок и просчетов — они чисты от негатива, их ставят в пример. И каждый раз, попав на это шоу, ты ощущаешь себя грязным и порочным, со всеми своими дурацкими мыслями, эмоциями и неумением жить. Тебе тут многое покажут, тебе тут многое простят, но никогда не дадут чувство дома. Ты — только гость на этом подиуме фальши. Но стоит стряхнуть золотистую пыль, на секунду

прервать ритуал, прислушаться к словам хозяйки, и ты услышишь вольную пень ее лисьей души: «Мой дом... мой муж... мои дети... Я прекрасна! Я желанна! Я — совершенство и гармония! Любите меня, восхищайтесь мной! Завидуйте же, завидуйте...» Здесь не случается искренних фраз и заботливых взглядов. Тебя и замечают здесь только тогда, когда ты допустишь ошибку, замечают для того, чтобы, сказать, научить, объяснить, что не так.

Митькина семья была стаей, а стая — это особая формация. Став ее членом, ты получаешь защиту и кров, тебя принимают любимым и не требуют соответствия. Вожак следит, чтобы тебя не обижали, и чтобы ты не устанавливал свои законы. Сюда допускают и боль, и печаль, несовершенство и ошибки. За них не наказывают, их переживают вместе с тобой. Это место, где ты засыпаешь, не боясь проснуться.

Мы стали приезжать по праздникам, а вскоре и по выходным. Нас неизменно тянуло в этот дом, где громкий смех не вызывал презренья, где не было стыдно за глупый вопрос, неловко из-за неверно взятой ноты. Осоловевшие, с пороссячьими животами, мы отползали от стола и шли пешком до метро, чтобы немного отдышаться. В наших сумках стучали кастрюльки с едой, пакеты с пирожками грели душу.

Незаметно для себя я стала называть Кораблевых родителями. Так в мою жизнь пришло понятие «родители», а вслед за ним — понятие «семья».

За время отпуска я многое успела: пожить в суматошном веселом безделье, впервые заглянуть в глаза судьбе, примерить на себя роль сестры и невестки, хозяйки дома и жены. Мой дебют на сцене взрослой жизни, как это водится, сопровождался взлетами и падениями. Я с жадностью наверстывала то, чего меня лишили в детстве — блуждала без забот в стране проснувшихся надежд. Я училась любить, и эта наука оказалась непростой. Весь мой предыдущий опыт сводился к двум основным сценариям: тебе позволяют любить и тебя к этому принуждают. Мои родители общались посредством угроз, запугивания и шантажа. Модель, предложенная Митькой, была совсем иной природы. Он ничего не требовал взамен, отдавал себя без остатка, и даже не пытался оценить глубину душевных затрат. Скорее всего, ему не приходили в голову такие термины как «жертва» и «затрата». Любимому человеку должно быть хорошо — вот цель, которую он ставил, и которая, словно маяк, влекла его сквозь рифы нашей бестолковой и такой непутовой юности. В моих упреках Митька видел не каприз, а собственный промах, мои проблемы с внешним

миром он принимал без купюр. Без лишних сомнений, он определил меня в солнечный сектор и обозначил его границы как степень эзотерического допуска. Странные Митькины приятели дружно надували щеки и говорили обо мне мудреные слова. Общаться с ними было трудно, спорить глупо, а понять невозможно. В их обществе я быстро научилась придерживать природную смешливость и кутаться в кокон таинственности. Соответствовать не составляло труда, поскольку их ученые лбы занимал не сам объект, а собственное мнение о нем.

Беспечная осень укрылась листвой, которая совсем недолго красовалась на обветренной земле.

В октябре выпал снег. За одну ночь он выбелил мосты и бульвары, превратив город в гигантский нетронутый лист.

Наступило тоскливое межсезонье с его извечной неприкаянностью и быстрыми сменами настроения. Сумерки обступили мир и двинулись к центру, сжимая кольцо. Небо налилось и обвисло.

Едва наступал рассвет, как тут же начинало вечереть, и сонное светило, вращая мутным глазом, тяжело переваливалось за горизонт.

Периоды затишья сменялись ненастьем, и тогда охрипший ветер рвал подъездные двери,

швырялся снегом и метался в горячке, чтобы с приходом ночи свернуться под скамейкой и затаиться там до новых разбойных вылазок.

Хозяйка квартиры нашла более выгодных жильцов и погнала нас на улицу. Единственным вариантом среди зимы оказалась избушка в Опалихе, разделенная надвое. Нам достались две узкие комнатки с отдельным входом, плохо отапливаемые и малопригодные для жилья. При первом же осмотре выяснилось, что некогда просторную веранду наспех переделали и утеплили, чтобы сдавать таким незадачливым постояльцам как мы. Большая часть дома принадлежала супругам — пенсионерам сталинской закалки и казарменных взглядов на жизнь. Выживший из ума дед всю неделю игнорировал наше присутствие, а потом вдруг зачастил на нашу половину. Стоило оставить дверь незапертой или плохо задвинуть щеколду, как деятельный старик вырастал на пороге.

— Почему так долго спите? — интересовался он в девять утра.

— Чем вы тут занимаетесь? — этот вопрос он любил задавать ближе к ночи.

Мы, как могли, держали оборону, но он не унимался и продолжал шпионить днем и ночью. Его боевая подруга следила за нами в глазок, проделанный, похоже, с нашим появлением. Чтобы

отделаться от неумной парочки, мы свели жизнь в хибаре к ночлегу, и три километра, отделявшие дом от станции, даже в лютые морозы проходили неспеша.

В таком режиме мы просуществовали весь январь, а к концу месяца я уже с трудом таскала ноги: вставать по утрам получалось из рук вон плохо, согреться же не получалось вовсе.

— Мне нужно в Москву, — пожаловалась я Митьке, — Тошнота, озноб и слабость.

Митька окинул меня тревожным взглядом:

— Поедем к маман, она тебя осмотрит.

Я тяжело вздохнула, покачала головой:

— Боюсь, терапевт здесь не поможет — мне нужен другой специалист.

— Да, и какой?

— У меня задержка две недели...

— Так, приехали! — Митька сделал умное лицо, потоптался на месте и решительно произнес, — Одевайся, мы едем в Москву!

Диагноз быстро подтвердился, и гинеколог перешла в наступление. Она посетовала на плохую рождаемость, объяснила, что двадцать лет — самый лучший возраст для материнства. Я слушала ее беспечный щебет и мрачно изучала календарь, согласно которому через двадцать восемь дней мне предстояло выйти в институт.

Ранний токсикоз испортил жизнь

окончательно: с утра до вечера меня тошнило, мотало в транспорте и выворачивало наизнанку, а слабость и ломота довершали все это буйство ощущений. Неделями я не могла согреться и, выходя из душа, тряслась как в лихорадке. Казалось, озноб прочно установил права на мой изможденный организм. Ушлая Ритка всучила мне адресок, по которому быстро и задорого взялись решить мою проблему.

Сказочное богатство к тому моменту было спущено на ветер, но сто рублей на темное дело у нас нашлось.

Морозным синим утром мы высадились у четырехэтажного строения явно медицинского толка.

— Документы в порядке? — осведомилась суровая тетка.

Я, молча, кивнула.

— Тапки, халат, рубашка? — она вперила в меня тяжелый взгляд.

— Да, все на месте, — мои колени задрожали, язык прилип к небу.

— Нам обещали обезболить... — начал, было, Митька.

— Это не ко мне, это к анестезиологу. Но раз обещали, обезболят — все зависит от договоренности.